

Санд Ж.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:  
**МОН-РЕВЕШ**



Собрание сочинений

Жорж Санд

**Мон-Ревеш**

«Алгоритм»

1853

УДК 82/89  
ББК 84(4Фр)

**Санд Ж.**

Мон-Ревеш / Ж. Санд — «Алгоритм», 1853 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03055-0

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. «Мон-Ревеш», в котором конфликт решается в рамках семейных, межличностных отношений можно отнести к жанру психологического романа. В дом, где могли бы царить любовь и согласие, приходит несчастье. Всего лишь потому, что случайное, нелепое подозрение вторгается в сердце одного из главных героев романа – Дютертра. Ни в чем не разобравшись, он наносит этим подозрением жестокий удар здоровью своей жене, и это приводит к ее смерти.

УДК 82/89  
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03055-0

© Санд Ж., 1853

© Алгоритм, 1853

# Содержание

Предисловие	6
I	8
II	15
III	21
IV	28
V	35
VI	41
VII	46
VIII	50
IX	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54
Комментарии	

# Жорж Санд Мон-Ревеш

## Предисловие

[1]

Вот еще один роман, о котором, вероятно, скажут, как обо всех романах, мною написанных, да и как обо всех романах вообще: что он доказывает?

Есть категория читателей, которые возмущаются автором, если он в своем произведении не сделал выводов. Но есть и другая категория читателей, которые в каждой подробности видят защитительную речь, а в каждой развязке – доказательство, и в итоге сердятся на выводы, которые сами же приписывают автору. Обе эти категории читателей живут весьма распространенным в истории искусств предрассудком: по их мнению, автор должен непременно делать выводы из выраженных в романе мыслей и непременно что-то доказывать.

Мне никогда не приходило в голову требовать чего-либо подобного от произведений искусства; вот почему я никогда не считала нужным и навязывать что-либо в этом роде себе самой. Но, полагаю, мне будет дозволено ответить сегодня на этот несправедливый упрек. Может быть, он и не относится именно ко мне, так как вполне вероятно, что я, не сделав никаких выводов, только обнаружила свою беспомощность, но важнее то, что этот упрек несправедлив по отношению к роману вообще.

Обычно читатели любят, чтобы порок был наказан, а добродетель торжествовала повсюду, начиная от волшебных сказок и кончая мелодрамами. Признаюсь, мне тоже это нравится: но, к несчастью, это ничего не доказывает ни в сказке, ни в мелодраме. Когда в книге или на театре порок остается ненаказанным, это еще вовсе не является доказательством того, что порок не внушает отвращения и не заслуживает кары. Когда же добродетель не торжествует в литературном вымысле, – а в действительности это происходит часто, – то из этого следует лишь то, что автор, если бы он и захотел доказать такую чудовищную мысль, как мысль о бессилиии добродетели в нашем мире, доказал бы тем самым лишь одно: что он несправедлив и не очень умен.

Что такое фабула романа, трагедии – любого повествования? Это достоверная или вымышленная история некоего события, это рассказ о нем. Вот что в романе я назвала бы романом в собственном смысле. Все украшения, придающие ему живописность, или рассуждения, побуждающие читателя мыслить, – лишь аксессуары. Иногда эти аксессуары достаточно разнообразны и кажутся настолько приятными, что заставляют не замечать и прощать автору плохо построенное действие; а иной раз интересно задуманное и ловко построенное действие вызывает у читателя снисходительное отношение к неуклюжему стилю и неправдоподобию деталей. Но я спрашиваю: что доказало любое событие само по себе? – и готова спорить, что разумного ответа не будет. А если ни одно событие ничего не доказывает в действительной жизни, то как же может что-нибудь доказать рассказ о вымышленном событии? Можно ли ссылаться на него как на подтверждение теорий, мимоходом изложенных рассказчиком или обсуждаемых его персонажами? По правде говоря, восторжествует ли в конце добро над злом, одолеет ли негодяй порядочного человека, утешится ли вдова или умрет от чахотки, будет ли добродетельный человек вознагражден признанием общества или просто удовлетворится тем, что у него чиста совесть, – мне это безразлично, лишь бы судьбы персонажей были связаны между собой и приведены к развязке так, чтобы они до самого конца вызвали у меня интерес. Я сочла бы себя наивной, если бы стала выжидать, чью сторону примет по своей прихоти

автор, чтобы решить, что истинно и что ложно в человеческой природе, что справедливо или несправедливо в обществе.

Если бы корабль, на котором возвращалась Виргиния, не потерпел крушения, входя в порт, разве это доказало бы, что целомудренная любовь всегда венчается счастьем? И доказывает ли тот факт, что этот злополучный корабль погружается в пучину вместе с интересной героиней, идею, что настоящие влюбленные никогда не бывают счастливы? Что доказывает сюжет «Поля и Виргинии»<sup>[2]</sup>? Лишь то, что молодость, дружба, любовь и тропическая природа великолепны, когда о них повествует и их описывает такой писатель, как Бернарден де Сен-Пьер.

Если бы дьявол не увлек и не победил Фауста, разве это доказало бы, что мудрость сильнее страстей? И если дьявол оказывается сильнее философа, разве это доказывает, что философия никогда не сможет победить страсти? И что вообще доказывает «Фауст»?<sup>[3]</sup> То, что наука, поэзия, человеческие чувства, фантастические образы и глубокие мысли, равно сладостные или мрачные, очень хороши, когда именно Гете создает из всего этого волнующую и возвышенную картину.

Если бы Юлия не утонула в Женевском озере, если бы Танкред не убил Клоринду, если бы Пирр женился на Андромахе, если бы Дафнис не женился на Хлое, если бы Ламмермурская невеста не сошла с ума, если бы Гяур не стал монахом<sup>[4]</sup>, мы утратили бы самые прекрасные страницы многих шедевров, но у нас не стало бы ни одним доказательством больше или меньше, не был бы упущен или найден ни один вывод из подобных обстоятельств.

Поэтому я нахожу критику праздной, когда она спорит о правах фантазии, и вредной для искусства, когда она хочет принудить фантазию служить решающим свидетельством. Я хочу, чтобы нам позволили показывать по нашему усмотрению все, что нам заблагорассудится, и чтобы те, кто оспаривает наши чувства, как и те, кто разделяет их, не требовали от нас отчета в выборе того или другого события. Я не желаю, чтобы одни кричали: «Автор уклонился от выводов!», а другие: «Выводы автора порочны!»

Я написала роман под названием «Леоне Леони», в котором обольститель не был наказан. Люди говорили: «Ах, какая безнравственность! Автор хотел доказать, что негодяи всегда любимы и торжествуют». Я написала роман под названием «Жак», в котором обманутый супруг умирает от горя. Люди говорили: «Ах, какая наглость! Автор утверждает, что обманутые мужья должны умирать от горя!» Я сочинила под влиянием минуты и как бог на душу положил не менее двух десятков ни в чем не схожих развязок, и на взгляд тех, кто хотел усмотреть в них насмешку над читателем, эти развязки доказывали возможность по меньшей мере двух десятков исключаящих друг друга решений. По словам одних, все они утверждали слишком многое; по словам других, не утверждали того, что следовало. Признаюсь, это лишь снова убедило меня в том, что сюжет, суть и задача романа – рассказать историю, из коей каждый может сделать свой вывод, соответствующий или противоречащий чувствам, выраженным автором.

Автор никогда ничего не докажет реальным примером – ни опасности, ни, напротив, явных преимуществ зла или добра. Произведение искусства – это творение, продиктованное чувством. Чувство испытывается, а не обосновывается. Писателя вдохновляет нечто общее. Общее не доказывается посредством частного; описанный факт, событие не подкрепляет и не разрушает теорию, реальное не толкает ни к каким выводам в пользу или в опровержение идеального.

Итак, поскольку роман вынужден описывать реальные события и факты, не надо требовать от него того, что не входит в его задачу: это убивает искусство и уничтожает интерес к роману.

## I

– Милый друг, разум, конечно, на твоей стороне, но разум глуп: он лечит только здоровых, а я болен, тяжело болен, разве ты не видишь? – говорил Флавьен. – У меня нервная лихорадка; из-за нее я стал невыносим для окружающих, да и для самого себя.

– Эта твоя лихорадка глупа! – отвечал Тьерре. – Она убивает лишь простаков, слабых морально и физически. Ты же один из самых гармоничных людей, каких я знаю; стало быть, нервный припадок, вызванный самой заурядной из горестей, не такая болезнь, которую ты не смог бы победить за два часа, если бы захотел.

– Да, да! За два часа я могу сговориться с более красивой и, возможно, не менее приятной женщиной, чем Леониса. Но мне нужно по крайней мере два месяца, чтобы время, которое я стану проводить с ней, показалось хотя бы сносным после сладостных часов, проведенных с Леонисой в последние дни.

– Знаешь, что мне пришло в голову? Ты рожден для брака.

– Что же навело тебя на столь блестящую мысль?

– Твоя манера любить. Мне кажется, она основана на привычке, на потребности в постоянной близости, которая свойственна буржуазной семейной жизни.

– Ошибаешься. У меня потребности патрициев и привычка к господству – это совсем другое дело. Вот почему мне до сих пор нравились только те женщины, которых можно купить.

– Я всегда замечал, дорогой мой, что даже самые сильные люди совершенно искренне приписывают себе именно те достоинства или недостатки, которые меньше всего им свойственны, и вводят в заблуждение как самих себя, так и других! – воскликнул Тьерре.

– Не обманывайся на мой счет. Мое стремление к господству, доходящее, как мне кажется, до тирании, не вызывает во мне ни гордости, ни сознания вины. А ты как его назовешь? Достоинством или недостатком? Ну, дорогой мой литератор, наблюдатель, любитель исследований, высказывайся, я тебя слушаю. Я знаю, тебе нравится мысленно исследовать каждого человека, и ни один из твоих друзей не избежал такого анализа; ты это делаешь просто так, от скуки, но – такова уж твоя профессия.

– Хорошо, подумаю, – несколько высокомерно ответил Тьерре. – Видишь ли, я не из тех литераторов, которые корпят над листом бумаги круглые сутки. У меня, как и у всякого другого, бывают часы праздности и отдыха. Когда я катаюсь верхом по Булонскому лесу, мне приятно чувствовать себя таким же глупым, как моя лошадь.

– Глупым, как все эти молодые люди, прогуливающиеся верхом, – ты ведь так хотел сказать, – последовал несколько раздраженный ответ.

Флавьен де Сож был знатен и богат. У Жюль Тьерре не было ни предков, ни состояния. Оба были умны; первый не получил серьезного образования, второй обладал немалыми знаниями и талантом. Они воспитывались вместе, при каких обстоятельствах – мы расскажем позднее; расскажем мы и о том, как, никогда не теряя друг друга из виду, они были связаны неким сложным чувством: у Тьерре это чувство нельзя было назвать ни любовью, ни антипатией, и все же оно имело в себе нечто и от того, и от другого. Флавьен не был обделен ни остроумием, ни врожденной проницательностью, но он редко утруждал себя размышлениями, хотя часто рассуждал с серьезным видом; Тьерре же постоянно предавался раздумьям, хотя любил делать вид, что говорит серьезно лишь смеясь ради.

В этот вечер, однако, он намеревался побеседовать с Флавьеном действительно серьезно, потому что тот в самом деле был задет за живое. Тьерре испытывал к другу детства симпатию и сочувствие, но в то же время его привлекала возможность найти какую-нибудь слабость у постоянного соперника. Оба они немного завидовали друг другу, не отдавая себе в этом отчета;



они как бы естественно соревновались между собой, ибо каждый из них имел все то, чего другой был лишен.

Проведя четверть часа во взаимных излияниях, они дошли до невольного взрыва досады, которая могла бы, как это часто случается, привести к охлаждению между ними, если бы не присущие Тьерре гибкость ума и твердость характера. Флавьен де Сож в пылу спора пустил своего коня галопом, показывая, что может, если тому угодно, оставить собеседника наедине с самим собой. Тьерре на мгновение задумался, закусил губу, но потом пожал плечами, улыбнулся, пустился, в свою очередь, бесшумным галопом по усыпанной песком аллее и догнал де Сожа у ворот Майо.

– Милый друг, галоп полезен мне, как человеку с очень холодной кровью, – сказал он, – но это плохое средство от лихорадки... Лучше бы ты ехал шагом, если только я не нарушу ход твоих мыслей и если...

– Нет, Жюль, напротив, я чувствую потребность поговорить с тобой – ты единственный человек, который умеет или хотя бы хочет меня понять, – порывисто воскликнул Флавьен; он не был злопамятен, и стоило кому-нибудь сделать первый шаг, как он сразу же охотно шел ему навстречу. – Давай поговорим, если моя дурацкая хандра не слишком раздражает тебя.

И они продолжали разговор: сначала речь шла о Леонисе, особе кокетливой, смелой и остроумной; Флавьен поставил себе целью завладеть ею, причем не жалел времени на нее, как он выразился, укрощение, но она ускользнула от него в тот самый момент, когда он возомнил себя хозяином положения, и он внезапно утратил все, чего достиг. Он честно признался Тьерре, что, возможно, сам бросил бы ее через неделю, но его опередили, и это страшно возмутило его; в общем – вопрос самолюбия, и ничего больше. Он, впрочем, допускал, что это весьма ребяческий вид самолюбия, которое надо бы подавлять в себе или хотя бы скрывать от ближайших друзей. Тьерре, любивший как бы вскользь давать Флавьену советы, заставил его отказаться от мысли о мести, убедив в том, что скандалы по такому поводу просто смешны.

Потом они заговорили о любви вообще, и так как родов любви существует множество, Флавьену пришлось признаться, что привязанность его к Леонисе была довольно грубой, что он испытывал к ней страсть без нежности и ревность без уважения. Тьерре, заставив, таким образом, Флавьена противоречить самому себе, в глубине души остался очень доволен.

«Да, бесспорно, профиль у тебя изящнее, борода гуще и плечи шире, чем у твоего скромного товарища по учению, – думал Тьерре, – ты с большим блеском едешь верхом; у тебя есть имя, тебя ценят женщины определенного круга! У тебя больше благородства или, скорее, непринужденности в манерах; ты умеешь командовать слугами, а подобное умение дается очень трудно, оно заложено в человеке от рождения. Ты богат и мог бы обойтись без умения себя держать и остроумия, тем не менее у тебя есть и то, и другое; тебя уважают, потому что ты храбр, и даже любят, потому что ты не зол. Твоя жизнь сложилась бы ослепительно, если б у тебя была еще способность здраво судить обо всем, но ты лишен ее, это мне хорошо известно. Поэтому, хоть судьба и отказала мне во многих преимуществах, я, наверно, вполне могу потягаться с тобой».

Молча подведя итог своим мыслям, Тьерре через несколько минут возобновил беседу.

Было решено не говорить больше о Леонисе, и гнев молодого графа уже улегся; ему надо было только отвлечься и перестать думать о ней, чтобы окончательно ее забыть. Тьерре предложил ему отправиться в манеж на Елисейских Полях, где они, несомненно, встретят кого-нибудь из друзей.

– Пожалуй! – сказал Флавьен.

Подъехав к манежу, они бросили поводья сопровождавшим их лакеям, которые увели лошадей.

Едва они явились в манеж, как к Тьерре подошел человек благородной наружности, не привлечший, однако, внимания Флавьена. Они побеседовали несколько минут, после чего Тьерре, немного взволнованный, возвратился к своему спутнику.

– Дорогой мой, я должен с тобой проститься. Мне необходимо вернуться домой, чтобы привести в порядок – не дела, нет, это значило бы, что у меня есть какие-то крупные денежные интересы, – а просто бумаги, мою пачкотню. Завтра я уезжаю в провинцию.

– Значит, тебя похищает этот господин? – спросил Флавьен, отходя от компании, к которой он было присоединился, и пытаюсь разглядеть человека, подходившего к Тьерре, а теперь удалявшегося. – Какой-нибудь родственник?

– Нет, это муж.

– А-а! Вот оно что. Все понятно. Но заинтересоваться провинциалкой? Фи! Не узнаю человека со вкусом, который так хорошо описывает светских дам, словно он принят у десятка герцогинь!

– Эта женщина – не провинциалка и не светская дама, – ответил Тьерре, скрывая досаду, так как в этом комплименте ему почудилась насмешка, – это женщина умная и с душой!

– С душой? Забавное определение! Подобная разновидность мне незнакома. Вероятно, это очень скучно.

– Флавьен, не паясничай! Ты лучше, чем хочешь казаться.

– О нет! Впрочем, я сам виноват. Я жил так лениво... Романов я не пишу, типы мне изучать не надо... Но ты говоришь, что эта женщина с душой тебе нравится?

– Больше того, я влюблен в нее, но я влюблен безнадежно, как говорят эти болваны романисты.

– Понимаю, Тьерре, понимаю; я же говорил: ты изучаешь!

– Ах, боже мой, нет – я смотрю, я восторгаюсь, я наслаждаюсь созерцанием!

– Оставь! Чтобы ты влюбился в добродетельную женщину, ты – сам рассудок, сама логика! И часа не прошло, как ты сказал мне то, что я повторял себе сотни раз... я вовсе не лишен нравственности; но это ясно само собой: «Зачем желать добродетельную женщину, если в тот день, когда она вам уступит, она перестанет быть добродетельной?»

– И это ты, великолепный укротитель, задаешь мне подобный вопрос? А борьба? А торжество победы?

– Ба! Это слишком просто. Восторжествовать над волей, над эгоизмом, корыстолюбием, капризами – дело стоящее! Но торжествовать над добродетелью? Я даже пробовать не хочу, честное слово, настолько это мне кажется банальным.

– Флавьен, ты уже развращен, а я нет, хоть я и старше тебя! Можешь думать, что хочешь, но добродетель – это нравственное могущество, духовная сила; я люблю эту женщину за нее самое...

– И чтобы это доказать, хочешь развратить ее! О логически мыслящий человек, ты говоришь вздор или смеешься надо мной! До свидания и счастливого пути!

– Я не хочу оставлять тебя в таком заблуждении. Если тебе не обязательно видеть, как мадемуазель Каролина берет барьер, проводи меня до моей поэтической конуры; может быть, я попрошу тебя об одной услуге.

– Ага! Отправиться с тобой и занимать доверчивого мужа, в то время как ты будешь блистать красноречием перед его добродетельной половиной!

– Возможно!

– Ну, на это у меня не хватит мужества. Никогда не проси у меня ничего подобного. Я эгоист.

– Ты прав, – ответил Тьерре, – я сам эгоист, и поэтому я покидаю тебя. Прощай!

И он удалился.

Через час, когда Тьерре готовился дома к отъезду, к нему вошел де Сож, очень возбужденный. Светские привычки не научили его сохранять спокойствие независимо от душевного состояния. Он всегда следовал первому порыву.

– Флавьен, ты совершил какой-то безумный поступок! – воскликнул Тьерре и мысленно добавил: «Или глупость!»

– Нет, но мне очень хотелось и все еще хочется совершить его! – откровенно ответил Флавьен, раскуривая сигару. – Вот почему я прибежал к своему мудрому ментору – пусть он охранит меня от самого себя!

– Ментор! Когда это слово произносит человек, который хвалится тем, что заставляет всех повиноваться и никогда никому не уступает, оно означает: «Тот, кто читает нравоучения»!

– Боже мой, Жюль, до чего же ты обидчив! Так встретить меня, когда я пришел искать у тебя успокоения! Оно мне просто необходимо.

– А ты уверен, что я сам спокоен? Я же сказал тебе, что я влюблен!

– Влюблен хладнокровно, как всегда, и влюблен в самое добродетель, иными словами – отнюдь не ревнив, поскольку к ревности нет повода!

– Кто же из нас ревнив? Не ты ли? Ревнуешь мадемуазель Леонису!

– Как только ты сближаешь эти два определения – имя этой девки и прилагательное «ревнивый», я прихожу в себя, и мне хочется смеяться. Но когда я встречаю ее под руку с Марсанжем, у меня возникает непреодолимое желание прикончить их обоих.

– Ты встретил их?

– Только что, в манеже.

– И что ты сделал?

– Ничего. Поклонился им с самым серьезным видом.

– Ну что ж, для человека, в котором все кипит, – превосходно!

– Да, но Марсанж был вне себя от моего равнодушия, а Леониса – от моего презрения. Меня ничуть не удивит, если он в ближайшие же дни начнет искать со мной ссоры, а я не желаю впутываться в историю из-за девки, да еще в подобных обстоятельствах. Это выставит меня в смешном свете, а в тот день, когда я окажусь смешон, я, наверно, пушу себе пулю в лоб!

– В таком случае надо месяца на два уехать из Парижа.

– Вот именно. Завтра утром я уезжаю в Ниверне<sup>[5]</sup>.

– В самом деле? А что ты будешь делать в Ниверне?

– То, что я откладываю со дня на день в течение полугода: там у меня имение, и я намерен продать его одному соседу, по фамилии Дютертр.

– Что? – с живостью воскликнул Тьерре. – Ты знаешь господина Дютертра?

– Откуда я могу его знать, не имея понятия ни о Ниверне, ни о своем имении? Полгода назад я получил наследство от двоюродной бабушки: дом, луг, поля, лесок – словом, нечто, оцененное моим нотариусом в сто тысяч франков. Мне нужны эти сто тысяч, чтобы заново обставить мой замок в Турени. В Ниверне же есть некий господин Дютертр, который, по слухам, богат, кажется, депутат... Да, кажется, где-то я его видел. Он хочет округлить свои владения и заплатит наличными. Я продам ему всю эту недвижимость, а потом уеду в Турень. Хочешь, поедем вместе? Я забираю тебя с собой.

– Значит, в Ниверне?

– Да, да, мой милый, это будет больше содействовать тебе в накоплении нужного опыта и доставит больше удовольствия, чем все труды по совращению твоей провинциалки... как ты говорил? Женщины умной и с душой? Ну и стиль! А ведь ты так хорошо пишешь! Решено, в семь часов мы уезжаем поездом на Орлеан и остановимся лишь под старыми дубами Морвана. Когда я говорю «дуб», это значит дерево вообще, ибо я не знаю, что растет в тех краях. Но мне сказали, что там много лесов и полно дичи. Мы будем охотиться, читать, философствовать. До завтра, не так ли? Ты принесешь мне в жертву твою провинциалку?

– До завтра. Подожди только несколько минут, ты захватишь письмецо, которое я напишу, и опустишь его в первый попавшийся почтовый ящик.

И Тьерре принялся писать, произнося вслух:

«Сударь!

Я вынужден с глубоким сожалением отказаться от чести сопровождать вас завтра и от удовольствия совершить путешествие вместе с вами. Один мой друг увозит меня к себе, но мы будем у цели раньше вас. Этот друг – ваш сосед, граф Флавьен де Сож, который собирается встретиться с вами по поводу дела, представляющего интерес для вас обоих.

Примите и проч.

*Ж. Тьерре».*

– Кому ты меня так представляешь? – небрежно спросил Флавьен.

Тьерре надписал адрес и отдал ему письмо.

– Господину Дютертру, члену палаты депутатов, – смеясь, прочел Флавьен. – Ее мужу! Моему покупателю! Значит, это тот самый господин?

– Именно. И еще говорят, что случай слеп. В книге судеб было дважды начертано, что я уеду завтра в Ниверне и что я отправлюсь вздыхать по госпоже Дютертр. Однако я лучше поеду с тобой, чем с мужем: ничто так не стесняет меня, как доверчивый муж. Он уезжает в семь часов вечера, мы – в семь утра. Он сочтет, что у нас какие-то причины не ждать еще двенадцать часов, что, конечно, было бы более вежливо, но куда менее приятно.

– И он очень мешал бы нам говорить по дороге о его жене, – спокойно заметил Флавьен, – а я предвижу, что ты будешь говорить о ней.

– Да, уклониться тебе не удастся, и потому прошу тебя хорошенько выспаться сегодня.

На следующее утро они уже катили по дороге в Невер.

– Это женщина лет двадцати – двадцати пяти, – говорил Тьерре своему спутнику, – женщина редкой, пронзительной, своеобразной красоты – словом, из таких, какие мне нравятся. Густые, блестящие черные волосы, выющиеся от природы, кожа белая, гладкая, такая матовая, что даже немного страшно. Манера вести себя, одеваться, говорить, несмотря на желание быть такой, как все, ни на кого не похожа. Рост средний, гибкая, прелестная фигура; ножки, ручки, зубки, ушки... все безупречно; и сверх этого, ее как бы окружает какая-то тайна, заставляя надолго задумываться над каждым словом, которое она произносит или даже не произносит. Ты понимаешь меня?

– Ничего не понимаю. Боже, бедный мой Жюль, как тебя испортила литература! Ты столько сочиняешь, что уже разучился описывать. Сквозь твою фантазию невозможно разглядеть что-нибудь реально существующее. Я, например, отношусь с недоверием к твоей провинциалке. Я вижу ее дурно одетой, не слишком чистоплотной, напыщенной и до ужаса глупой под личиной глубокомыслия. Ты меня прости, но ты сам в этом виноват – уж такое впечатление складывается у меня от твоего портрета.

– Госпожа Дютертр не провинциалка, а иностранка, которая родилась и воспитывалась в Риме; она дочь выдающегося музыканта и женщина вполне светская по манерам.

– По правде говоря, я ее никогда не видел или не помню. Как ее звали, прежде чем она стала носить звучную фамилию Дютертр?

– Олимпия Марсиньяни.

– Итальянка?

– Чистокровная, и говорит без акцента.

– Имя ее отца мне знакомо, он художник?

– Нет, композитор, maestro.

– Он, кажется, умер?

– Давно.  
– А эта дама тоже из мира искусства? Дютертр полагал, что она выходит замуж по любви?  
– Откуда мне знать, чего хотел Дютертр, брака по любви или по расчету? Я, например, уверен в том, что она никогда не любила своего мужа.  
– С тех пор, как полюбила тебя?  
– Меня? Если б она любила меня, неужели я ехал бы к ней?  
– Ты бы тогда ее не покинул!  
– Или уже покинул бы. Проблема была бы решена...  
– А-а! Так-то ты любишь добродетель за нее самое! Прекрасно, прекрасно, ты снова стал самим собой! Любовь чисто умственная, влечение из любопытства, глубокое отвращение к действительности: видишь, как я тебя знаю!

Тьерре улыбнулся. Флавьен ошибался в нем – Жюль был немного пресыщен, но не развращен, и нередко прикидывался скептиком, опасаясь, что, признавшись в своей наивности, покажется некоторым людям смешным.

– Поговорим о Дютертре, – продолжал Флавьен. – Он будет моим покупателем, нашим общим должником: ты претендуешь на его жену, я – на его деньги. Что это за человек? Глубокоуважаемый депутат? Все они глубокоуважаемые... Богатый землевладелец, миллионер... бывший промышленник, пристрастившийся теперь к сельскому хозяйству; член совета своего департамента, мэр своей коммуны, член церковноприходского совета, прекрасный муж, прекрасный отец... И при всем этом он порядочный человек?

– Очень порядочный и даже умный.  
– И с душой, как жена?  
– И с душой. За это я ручаюсь, хоть и знаю его не так давно.  
– А с каких пор ты знаешь его жену?

– Его жену? – весело ответил Тьерре, считая по пальцам. – В общем, я ее видел три раза; что же касается мужа, мы встретились с ним у нашего общего друга, я ему понравился; он мне тоже нравился, пока я не увидел его жену. Он представил меня ей, и с тех пор я терпел предупредительность мужа, не имея, однако, права насмехаться над ним, потому что – говорю тебе совершенно серьезно – у него манеры и репутация порядочнейшего человека. Какого черта он оказался мужем Олимпии? Я же не виноват, что она поразила мое воображение с первого взгляда. Представь себе женщину бледную, но не бесцветную, строгую и полную неги, равнодушную и ледяную; ее улыбка полна очарования и пренебрежения, все в ней привлекает и отталкивает, возбуждает и пугает, эта женщина поощряет и обескураживает одновременно – словом, живая загадка. Разве это вульгарно и часто встречается? Вот уже десять лет, как я ищу подобный тип женщины и нашел его наконец. Я не могу упустить ее, я берусь ее завоевать, я ставлю себе задачу разгадать сфинкса; я поддерживаю дружбу с мужем, располагаю его к себе, обещаю ему поехать с ним в Ниверне поохотиться во время парламентских каникул. Его жена, которая приехала в Париж всего на две недели и уверяла, что спешит вернуться к детям, уезжает, бросив на меня странный взгляд, и говорит, что рассчитывает на меня в сентябре. Она исчезает, я пылаю, я мечтаю, я волнуюсь, я успокаиваюсь, я рассеиваюсь, я забываю. Наступают каникулы, и вот вчера вечером ее муж вполне реально является мне при свете огней манежа; бледный призрак Олимпии идет рядом с ним, видимый мне одному. В это дело вмешался рок, потому что, даже если бы Дютертр не привез меня к ней, ты увлекаешь меня за собой. И вот я еду туда. Понял ты наконец?

– Конечно, женщина бледная и яркая, дразнящая и неприступная, полная неги и скромная, – отлично, друг мой, теперь мне все совершенно ясно, я понял до конца. Милый мой, ты часто говоришь как безумец, но действуешь весьма разумно. Ты воспламеняешься как артист, но говоришь о своих причудах как положительный человек. Ты все предпринимаешь с жаром, но выбираешь средства вполне хладнокровно. Вот что заставляет тебя действовать так проти-



воречиво и говорить так парадоксально. Видишь, я тоже наблюдаю за тобой и если не всегда понимаю, то все же достаточно хорошо знаю тебя.

– Ну, ну! Неплохо для человека, который не зарабатывает этим на жизнь, – смеясь, ответил Тьерре.

– Но я устал от этих усилий; мне легче гоняться за дичью с раннего утра до поздней ночи по лесной чаще, чем сделать несколько шагов по извилистому лабиринту в мозгу поэта. Спокойной ночи, я надеюсь проспать до самого Невера.

Тьерре написал несколько стихов, мысленно сочинил сцену из комедии и кончил тем, что уснул как простой смертный.

## II

Скромное жилище, оставленное канониссой<sup>[6]</sup> де Сож ее внучатому племяннику Флавьену, было одновременно живописным и удобным, и хотя новый хозяин никого не извещал о своем приезде, двое слуг, пожилые мужчина и женщина, соединенные брачными узами, поддерживали там такой порядок и чистоту, что не прошло и часу, как Флавьен уже устроился в доме и ему была подана еда. После этого он быстро обошел свои владения; правда, их нельзя было назвать обширными, но зато там были прекрасные деревья, густые травы и хорошо откормленный скот. Старый слуга, он же и управляющий, вменил себе в обязанность сопровождать Флавьена и расхваливать ему великолепие его угодий. Тьерре шагал следом по лесным тропинкам; за ним увязалась старуха Манетта, еще весьма проворная и на ногу, и на язык. Видя, что она так расположена к болтовне, Тьерре не преминул расспросить ее о соседях, особенно о Дютертрах.

– О, это очень богатые буржуа! – сказала старуха. – Говорят, они не знают счета экио<sup>[7]</sup>. Для людей такого невысокого происхождения они довольно хорошо воспитаны и слынут весьма порядочными. Сама госпожа канонисса не считала для себя неподобающим встречаться с ними. Они много помогают бедным, а у хозяйки дома настолько благородные манеры, что ее никогда не примешь за то, что она есть на самом деле. Говорят, что ее отец был всего лишь музыкантом.

– Однако, милейшая, разве вы тоже канонисса, что так презрительно отзываетесь о музыкантах?

– Я, сударь? – не смущаясь, ответила старуха. – Я-то сама, как видите, женщина простая, но я всегда прислуживала благородным господам и провела в замке двадцать лет, ни больше ни меньше.

– В каком замке? – обернулся Флавьен.

– В вашем, господин граф, – ответил Жерве, муж старухи. – В вашем замке Мон-Ревеш.

– Ах да! Мон-Ревеш! Прошу прощения! Я забыл, как называется мое новое поместье. И по пути никак не мог вспомнить. Название мне не очень-то нравится<sup>[8]</sup>. Совсем как ваши дороги. Так, значит, это называется замком? – добавил Флавьен, указывая на строение, которое он уже мысленно прозвал своей голубятней.

– Это уж как вам будет угодно, господин граф, – с обидой ответила старуха, – но здешние жители привыкли называть его так, и вовсе не в насмешку. Хоть он и маленький, но у него есть и башня, и ров, и мост, да и вид у него не менее величественный, чем у этой махины, Пюи-Вердона.

– А что такое Пюи-Вердон? – спросил Флавьен.

– Замок в одном лье от нас, который купили Дютертры. Он богатый, просторный, но госпоже канониссе было ни к чему жилище таких размеров. «Когда нет детей, места всегда хватает», – говаривала она.

– Расскажите нам о детях этого Дютертра, – сказал Флавьен, глядя на Тьерре. – Их, стало быть, несколько?

– Достаточно, чтобы выводить родителей из себя, и притом одни девочки! Если б у меня были дети, я бы хотела иметь только мальчиков!

– Женщина, у которой уже было много детей... – Флавьен подошел поближе к Тьерре. – Поэтичного тут мало, и я не представляю себе твою фантастическую и таинственную красавицу посреди оравы ребят. Сколько же, вы говорите, детей у Дютертров? – обратился он к старым слугам.

– Господи, да не так уж много! – ответил Жерве. – Моя жена всегда преувеличивает. Всего трое; да они и не маленькие вовсе. Три барышни, старшей уже лет двадцать, а младшей по меньшей мере шестнадцать.

Тьерре побледнел и не мог вымолвить ни слова. Флавьен, напротив, побагровел, пытаясь удержаться от смеха. Но, видя изумление и смятение своего друга, он великодушно повернул обратно к дому, который его слугам так нравилось называть замком, и переменял тему разговора.

Как только они с Тьерре остались одни, Флавьен спросил:

– К чему такое уныние, такое безнадежное отчаяние? Неужели ты действительно обманут тридцатью восемью или сорока годами госпожи Дютертр и теперь словно с луны свалился? Признайся, Жюль: отправляясь сюда, ты просто посмеялся надо мной, а сам намерен сочинять любовные стансы одной из барышень Дютертр, принимая во внимание, что она унаследует от папаши не меньше миллиона франков?

– Нет, друг мой, это невозможно! – вскричал Тьерре. – Олимпия Дютертр может убавить себе пять-шесть лет, как делают все женщины. Ей может быть тридцать... ну – от силы тридцать два! Старшей дочери может быть четырнадцать... Но двадцать! Чтобы я ошибся, дав женщине на пятнадцать или двадцать лет меньше? Невозможно; твоя служанка стара и не соображает, что говорит, она все преувеличивает.

– Это не она сказала, а Жерве.

– Он впал в детство.

– Скажи мне, Тьерре, – серьезно произнес Флавьен, – ты видел свою Олимпию днем или при свечах?

– Только вечером, при свечах, – хмуро признался Тьерре; потом он расхохотался и дал наконец возможность расхохотаться и Флавьену; но он смеялся долго и слишком громко, что звучало довольно принужденно.

Первым перестал смеяться Флавьен; он сделал весьма разумное замечание, в котором Тьерре усмотрел неуклюжую попытку утешить его.

– Ну и что ж, даже если ей сорок! Женщине столько лет, сколько ей можно дать. Тебе тридцать два или тридцать три. Почему ты не можешь влюбиться в женщину, родившуюся на семь-восемь лет раньше тебя? Разве красавицы, которые прославлены в свете или в искусстве, не одерживают побед, будучи уже не столь молодыми? Знаешь, мой милый, это пренебрежение зрелыми красавицами объясняется ложным стыдом. На твоем месте я бы не краснел – когда этих женщин можно любить, их любят страстно. Они полны обаяния, как королевы, как великие актрисы.

– Да, как живописные развалины и старинные картины, – язвительно продолжал Тьерре. – Благодарю покорно! Я уже не ребенок, чтобы привязываться по детской привычке к первой попавшейся женщине, напомнившей мне мать умением заботиться и баловать; я не выскочка, которого ослепляет роскошь; бархат и кружева не заменяют мне объекта вполне естественных желаний. К черту вставные зубы и крашенные волосы! Моя Олимпия – бабушка, вот и все; и я утверждаю, что люблю ее как бабушку – ведь она же не виновата, что я немного близорук.

– И потом у тебя есть утешение: если ты и не нашел свой тип, воплощающий таинственные противоположности, зато встретил в ней проблему, которую философский анализ разрешит лучше, чем любовь. Это красивая женщина, хорошо сохранившаяся, и она защищается, как может, от разрушений, вызываемых временем. Следовательно, она женщина умная. Остается узнать, для чего служит ее наука. Добродетель ли это, стремящаяся понравиться мужу? Или ловушка, заманивающая поклонников? Можешь рассуждать на эту тему сколько твоей душе угодно.

– Меня не интересуют старые проблемы, – отвечал Тьерре, – и чтобы наказать ее за то, что она меня одурачила, я хочу влюбиться в самую красивую или наименее безобразную из

ее дочерей – и под самым ее носом! Пойдем, нанесем им первый визит. Я обязан сделать это ради нашего славного Дютертра. Хороший муж! Дорогой муж! Он не обманывал меня, когда говорил: «Я хочу представить вас моей жене!»

– Приведем себя немножко в порядок и поедем. Судя по нимфам и лесным богам, которые тут бродят, мне, откровенно говоря, кажется, что эти леса населены юными чудовищами обоего пола; пожалуй, я постараюсь побыстрее заключить свою сделку и уехать в Турень, посмотреть, по-прежнему ли скачут на кровных лошадях молодые англичанки, «отдавая во власть ветру свои лазоревые вуали и белокурые локоны», как сказал бы ты.

Но достать какое-нибудь средство передвижения, чтобы добраться до Пюи-Вердона, оказалось довольно трудно.

Жерве, который сообщил им о существовании экипажа канониссы, был оскорблен в своих лучших чувствах, когда оба молодых человека встретили насмешливыми возгласами появление захудалой колымаги и дряхлой лошади, услужливо предложенных им славным стариком. Тем не менее они были вынуждены с этим примириться, потому что шел дождь, и если бы они пошли пешком, то явились бы к дамам Пюи-Вердона промокшими и запачканными грязью. Они решили, что Жерве будет править, а они укроются под крышей экипажа и останутся за лесочком на небольшом расстоянии от резиденции Дютертров; дальше они пройдут через сад, не выставляя на посмеище молодым обитательницам замка нелепую берлину<sup>[9]</sup> канониссы. Но по дороге они передумали.

– Мы дураки, – признался Тьерре. – Ведь в замке знают эту ужасную колымагу. Все там давно привыкли к ней, и вряд ли кто предположит, что мы прибыли из Парижа в тильбюри<sup>[10]</sup> или верхом. Будет куда хуже, если они догадаются, что мы стесняемся этого экипажа; лучше уж не отказываться от него. Въедем торжественно, рысцой, в парадный двор замка. Эта почтенная белая лошадь – домашняя реликвия твоей бабушки – послужит намеком на устаревшие прелести госпожи Дютертр.

– Согласен; тем более что дождь льет как из ведра.

Но им не пришлось проявлять свое философское мужество – в полулье от замка их настигла почтовая коляска; обогнав их, кучер окликнул Жерве и остановился. Господин Дютертр, высунувшись из коляски, крикнул:

– Идите сюда, господа, идите сюда. Я узнал Жерве и понял, что вы сдержали свое слово, опередив меня. Я тороплюсь обнять мое дорогое семейство, но не хочу расставаться с вами. Почтовые лошадки бегут побыстрее, чем ваш славный Сезар, хоть он еще довольно бодр для своих двадцати трех лет. Видите, он мне знаком, по моей дороге инкогнито не проедешь. Скорей пересаживайтесь ко мне: Жерве поедет следом, а я получу двойное удовольствие – поеду с вами вместе и быстро доберусь до дома.

– Это же дурной тон – приехать и оказаться непрошеным свидетелем семейных объятий, – шепнул Флавьен Тьерре.

– Напротив, я считаю его откровенность очень хорошим тоном. Поспешим, скоро начнет смеркаться; а я хочу увидеть мою Олимпию, пока не зажгли свечи.

Господин Дютертр продолжал настаивать на своем, молодые люди быстро перешли из одного экипажа в другой, возница щелкнул кнутом, и через несколько минут они подкатили к Пюи-Вердону, не успев привлечь внимания обитательниц замка – господин Дютертр не сообщил никому о дне своего приезда, а дождь, по-видимому, вынудил дам сидеть взаперти в гостиной, окно которой выходило в сад с другой стороны дома.

Короткого переезда в коляске было достаточно, чтобы все трое почувствовали себя совершенно свободно – хотя двое из них впервые встретились друг с другом, – и дело о продаже Мон-Ревеша было быстро завершено. Дютертр даже не дал Флавьену объяснить цель своей поездки.

– Я знаю, что вы приехали сюда, намереваясь продать, а у меня есть желание купить, – сказал он. – Вы сами назовете мне сумму, в которую оцениваете ваше поместье. Я заранее согласен, если только вы по неопытности не преуменьшите его стоимости. Меня считают честным человеком, и надеюсь, что это соответствует истине.

– Мне очень нравится, как вы ведете дела, сударь. Раз уж вы так любезны, я пришлю вам завтра свою доверенность с неограниченными полномочиями в оформлении продажи имения на имя господина Дютертра, а цену вы впишете сами.

Они, смеясь, пожали друг другу руки и с этого момента стали друзьями. Прямота характера господина Дютертра сочеталась с такой непринужденной изысканностью манер, тона, всей внешности, что становилась неотразимой. Даже человек, опасющийся, как бы кто-нибудь не затмил его собственных достоинств, не смог бы найти у господина Дютертра ни одной черты, которая вызывала бы соперничество, недоверие или недовольство.

Сам Тьерре, объявив Дютертра человеком почтенным и в то же время, хоть и без злого умысла, легкомысленно отзываясь о его жене, невольно снова начал уважать его, особенно памятуя о том, что красавице Олимпии уже сорок лет.

В ту минуту, когда трое путешественников выходили из коляски, трое всадников въехали во двор на прекрасных лошадях, вымокших от дождя и взмыленных от скачки, и легко соскочили на землю.

Впереди всех ехала высокая белокурая девушка; ее оживленное и несколько припухшее от свежего воздуха и быстрой езды лицо уже утратило первую прелесть отрочества. Она походила на Дютертра, иными словами – была безупречно хороша собой; фигура у нее была очень изящная, тонкая, как бы воздушная. Однако ее лицо, выражавшее непреклонность, а также ее уверенные и гибкие движения говорили о большой физической энергии или большой решительности характера. За девушкой ехал бледный черноволосый молодой человек. У него были кроткие, меланхолические и умные глаза. Казалось просто невозможным вообразить себе более очаровательное лицо, большую простоту и вместе с тем грацию, более привлекательную улыбку, несмотря на выражение печали, если можно так сказать, хронической, а может быть, и благодаря ему.

Третьим ехал грум, коренастый и приземистый здоровяк, который увел тяжело дышащих лошадей в конюшню.

– А-а! – воскликнул господин Дютертр, сбегая обратно по двум ступенькам крыльца и спеша навстречу прекрасной амазонке, бросившейся к нему. – Вот моя Эвелина! Моя средняя дочь, – сказал он, глядя на гостей с невольной гордостью, и нежно обнял ее. – Ты же вся мокрая! – с кротким упреком добавил он. – Верхом, в такую погоду! Балованное дитя!

– Скажите лучше – неустрашимое, отец, не то Амедей возьмет на себя роль проповедника.

– Ну, здравствуй, мой милый, – сказал господин Дютертр, раскрывая объятия молодому человеку, который тотчас же пылко обнял его.

– Это ваш сын? – спросил Тьерре с выражением крайней иронии, которую понял только Флавьен.

– Нет, но все равно что сын! Мой племянник, Амедей Дютертр. Позвольте представить вас друг другу.

Молодые люди раскланялись. Господин Дютертр остановил Эвелину, которая быстро поднималась по ступенькам, ловко подобрав подол длинной суконной юбки, испачканный мокрым песком.

– Не говори никому, что я приехал, ты же знаешь, что я люблю заставить мое общество врасплох.

– Видишь, его жена – почтенная матрона, – тихо сказал Тьерре Флавьену, – иначе такой умница, как он, не говорил бы подобных вещей или не делал бы их.



– Да, сомневаться не приходится! – ответил Флавьен со вздохом, полным комического смирения, и поднялся с Тьерре на крыльцо, указывая на Эвелину, которая шла впереди с отцом. – Эта решительная амазонка уже утратила свои молочные зубы, между тем как она второе его чадо.

– Если все девицы равны этой, можно будет забыть о моем злосудии, – таким же тоном отвечал Тьерре, – но боюсь, что старшая уже теряет зубы мудрости.

В это время у входа в прекрасную галерею, как во многих зданиях эпохи Возрождения, служившую прихожей, показалась старшая дочь. Ей вполне можно было дать двадцать лет, но не более. Стройная брюнетка с еще более нежной кожей, она тоже была хороша собой – даже лучше сестры, но сдержанное и даже несколько чопорное выражение лица делало ее уже на первый взгляд менее привлекательной. Завидя отца, она не выказала ни малейшего удивления, не издала никакого восклицания; обняла его более почтительно, чем пылко, и сказала, окончательно уничтожив Тьерре, – хотя до него не дошло, с каким неестественным выражением были произнесены эти слова: – «Маменька будет очень довольна!»

«Мать, у которой дочь, возможно, уже совершеннолетняя! – подумал он. – О, я сам буду так издеваться над собой, что у Флавьена не хватит духу еще больше раздуть заблуждение, в которое я впал».

– Я услышала почтовый колокольчик, – спокойно заметила Натали, старшая из барышень Дютертра, проходя с отцом и его гостями по обширным и пышным покоям первого этажа, – и угадала, что вы устроили нам сюрприз.

– А я увидела коляску с вершины холма, – сказала Эвелина, – и спустилась вниз галопом, чтобы приехать одновременно с отцом.

– Чтобы поскорее обнять меня или чтобы побиться об заклад с Амедеем, рискуя сломать себе шею? – спросил отец; в его словах звучали одновременно насмешка, нежность и недовольство.

– Ну вот! Начинаются обычные нападки! – смеясь, воскликнула молодая девушка. – Как вы можете задавать мне такой вопрос?

– Оставьте, Эвелина, – сказал кузен, – тут налицо обе причины, хотя я и отказался биться об заклад: это было бы слишком опасно для вас.

– Ш-ш! Мы входим в святилище, – странным тоном объявила Натали. – Здесь обитает совершенство, которое мой отец ни в чем не сможет упрекнуть.

И с этими словами она отдернула портьеру; взволнованному взору отца семейства и быстрым оценивающим взглядам сопровождавших его гостей открылась маленькая гостиная, где обычно находилась госпожа Дютертр, когда бывала одна.

Но Тьерре постигло разочарование. Близился вечер, и гостиная, сама по себе темная из-за золотистых кожаных обоев и обитой лиловым бархатом мебели, была освещена лишь неясным сумеречным светом и огненными отблесками камина, где догорала охапка дров.

Две женщины, которые задушевно беседовали, сидя рядом у камина, вскочили и побежали навстречу Дютертру. В их восклицаниях сквозило больше чувства, чем в тех, что встретили отца семейства ранее. Это была Олимпия, жена Дютертра, и его младшая дочь Каролина. Внимание Тьерре восполнило слабость его зрения, и от него не ускользнула ни одна подробность этой сцены. Госпожа Дютертр, собравшаяся было поцеловать идущего к ней навстречу мужа, сделала шаг назад и подтолкнула к нему Каролину, как бы решив уступить ей преимущество первой ласки.

«Ого! – подумал Тьерре. – „Грешная жена“, совершенно ясно».

Мать и дочь обняли Дютертра без лишней суеты, но с большой нежностью; затем Каролина горячо поцеловала руку отца и, как истинно наивное прелестное дитя, подойдя к огню, передала его руку Олимпии, которая незаметно прикоснулась к ней губами. Дютертр вздрог-

нул, хотел еще раз поцеловать жену, но та опять немного отступила и подтолкнула к нему Каролину.

«Да, она очень виновата перед ним! – снова подумал Тьерре, стоя позади них и не упуская ни одного движения Олимпии. – Как много измен в прошлом, если мать семейства так смиренно отступает перед человеком, простившим ее в силу забвенья или привычки!»

– Я точно убедился, – сказал он, подходя к Флавьену, вслед за тем, как были представлены оба гостя и завязалась оживленная беседа.

– Убедился в возрасте?

– О, возраст здесь ни при чем; но это большая грешница.

– Ну да, уже? – воскликнул Флавьен, думая о том, как мало времени понадобилось Тьерре, чтобы установить подозрительное единомыслие с хозяйкой замка.

– Ты хочешь сказать – все еще? – ответил Тьерре, думая о возрасте дамы и не поняв восклицания друга.

Обрадованные свиданием и старавшиеся как можно приветливее принять обоих посторонних людей, хозяева забыли позвонить, чтобы принесли свет. Но мало-помалу все успокоились; промокшая амазонка по настоянию родителей ушла переодеваться. Натали, с виду очень молчаливая и равнодушная ко всему, не привлекала ничьего внимания. Каролина, не отходявшая от отца и державшая его за руку, словно боясь, как бы его не отняли у нее, восхищенно внимала каждому его слову. Госпожа Дютертр говорила мало, но умно, ее ответы и вопросы были всегда уместны, и вела она себя спокойно и уверенно, как женщины из высшего общества; звуки ее голоса, чистого и мелодичного, как у молодой девушки, радовали музыкальный слух Тьерре. Господин Дютертр приятно и степенно беседовал с тремя мужчинами, не забывая время от времени оборачиваться к жене, словно советуясь с ней или призывая ее в свидетели; его внимание и предупредительность скорее были результатом привязанности, чем просто благовоспитанности.

«Какой сильный человек, – думал, наблюдая за ним, Тьерре. – Трудно поверить в виновность такой безупречной супруги, если б я не видел, что она поцеловала его руку!»

Дютертр стал предметом его восхищения, и Тьерре решил изучить его как тип. А в тусклом свете, который огонь бросал на бледное лицо Олимпии, был виден лишь чистый овал и, по-видимому, очень черные волосы. Тьерре, разглядывая ее и вновь восхищаясь прелестным обликом, который раньше так пленил его, спрашивал себя, не привиделось ли это ему во сне или, быть может, продолжает сниться до сих пор.

В этот момент господин Дютертр позвонил, чтобы принесли свет, и Флавьен, воспользовавшись беспорядком, поспешил откланяться.

Тьерре последовал за ним; в передней они встретили слуг, несших зажженные канделябры.

– Давно пора! – сказал Тьерре, смеясь.

### III

– Ну, признайся, – говорил он Флавьену, который начал хохотать пуще его самого, как только они уселись в семейную колымагу, – признайся, что можно ошибиться, если у тебя очень хорошее зрение, и что эта женщина очень молодо выглядит...

Флавьен продолжал хохотать.

Тьерре был уязвлен и, чтобы сдержать данное самому себе слово, принялся так высмеивать свою близорукость, что веселость его друга сделалась просто конвульсивной. Но вдруг Флавьен перестал смеяться.

– Могу поспорить: ты не знаешь, над чем я смеюсь.

Это внезапное восклицание ошеломило Тьерре.

– Я смеюсь над впечатлительностью поэтов. Они на все смотрят, ничего не видя, а когда уже могли бы и увидеть, то перестают смотреть. Ты исследовал, анализировал внешность этой женщины, высчитывал ее возраст, но не увидел ее такой, какая она есть, потому что основывался на случайно брошенных утром словах Жерве, и тебе показалось, что ей чуть ли не пятьдесят. Твои воспоминания, именовавшиеся страстью, не вселили в тебя никакой уверенности, и ты не смог преодолеть простой ошибки. Сейчас ты снова увидел эту женщину и мог так же отлично все понять, как и я. Ведь ты подошел к ней до смешного близко, а света было достаточно. Но, будучи убежден, что она стара, ты и не соизволил заметить, что она молода, и теперь принимаешь ее за почтенную матрону, а я – не влюбленный и не поэт – наконец разгадал тайну: вот увидишь, ошибся я или нет.

Жерве, – возвысив голос, обратился Флавьен к старому слуге, который все еще твердой рукой направлял Сезара по песчаной колее, – господин Дютертр уже был один раз женат?

– Конечно, господин граф, – не колеблясь, ответил Жерве, – то была мать его детей.

– А сколько лет его второй жене?

– Могу вам сказать – ведь я был в церкви, когда оглашали их брак. Госпоже Олимпии должно быть сейчас... погодите... около двадцати четырех, господин граф. Ей было двадцать, когда господин Дютертр женился на ней в Италии.

– Двадцать четыре! – воскликнул Тьерре. – Госпоже Дютертр двадцать четыре года! А этот старый идиот и не подумал нам это сказать!

– Знаете, сударь, – ответил Жерве, услышав слишком громкое восклицание Тьерре, – если бы вы подумали спросить меня, я бы подумал вам ответить.

– Вот ты и наказан! – сказал своему другу Флавьен. – Наказан за то, что не дал себе труда проверить, за то, что твои любовные воспоминания не устояли перед пустой, водевильной ошибкой. Позволь тебе объяснить, дорогой мой, что ты видишь женщин глазами семинариста, то есть сквозь пелену болезненных галлюцинаций. Знаешь, ты куда моложе, чем выглядишь, и куда менее развращен, чем стараешься казаться.

– Флавьен! Если ты сейчас же не перестанешь говорить со мной об Олимпии, я заведу речь о Леонисе.

– Как хочешь! Это меня больше не трогает, потому что мне хочется влюбиться в Олимпию, раз ты в нее не влюблен.

– Почему ты знаешь?

– Да ты никогда и не был влюблен в нее!

– Возможно; но тебя я прошу не влюбляться. Она мне позировала, не мешай моей натурщице.

– Что ж! Если ты поведешь разговор в таком направлении, то я тебя пойму. Ты играешь с женщинами в игру, в которой другой обжегся бы изрядно, но ты будешь жечь лишь благовония поэзии в курильнице из веленовой бумаги с золотым обрезаем.

– Неважно. Вот мы и приехали. Я хочу спать и проведу ночь лучше, чем ожидал. Я боялся, что увижу во сне а Lady in the sacque<sup>1</sup>, вроде той, что была в комнате с гобеленами<sup>[1]</sup> у Вальтера Скотта, но если образ дамы из Пюи-Вердона теперь будет витать над моим изголовьем, я жаловаться не стану.

– Иначе говоря, с твоих мужественных плеч и с твоей поэтической души гора свалилась. Теперь, мой друг, после такого тяжелого дня и таких ужасных волнений ты можешь спать спокойно. – И Флавьен покинул приятеля.

А теперь предоставим двоих друзей, которых мы никак не могли покинуть ранее, спокойному сну и взглянем, что происходит в это время в замке Пюи-Вердон.

Господин Дютертр, наскоро пообедавший в дороге, проголодался; шестнадцатилетняя Каролина, которую сестры прозвали «папина Малютка», сбегала на кухню и, как истая буржуазка в лучшем смысле этого слова, собственноручно приготовила и сама подала ужин дорогому папочке. Девочка с пылким сердцем и спокойным воображением, она покамест знала только одно чувство – дочернюю любовь. Она была и по внешности, и по уму наименее яркой из трех молодых девиц на выданье, расцветших в Пюи-Вердоне, но зато была и самой счастливой из них, ибо не старалась быть ни самой умной, ни самой красивой. Лишь бы папа и мама были ею довольны, и она будет считать себя самой счастливой девушкой на свете, – говорила она, и говорила вполне искренне.

Среди естественной для очень богатого дома роскоши простые вкусы и хозяйственные наклонности Малютки составляли забавный контраст с аристократическими вкусами и заносчивым видом той из ее сестер, которую прозвали львицей. Эта самая львица и отважная наездница, Эвелина, только что спустилась в гостиную, сменив суконную амазонку на прелестное платье. Тщательно причесанная, надушенная, в щегольских туфельках, она казалась совсем другой девушкой. Эвелина знала это и любила показываться людям то в виде бойкого мальчишки, равнодушного к иссушающему кожу ветру и усталости после охоты, то в виде беспечной и утонченной светской дамы, полной обольстительного кокетства, пока еще невинного, но грозящего стать опасным в будущем.

Она надеялась застать больше людей, которые оценили бы это волшебное мгновенное превращение. Натали, всегда одетая строго, не потому, что так ей больше нравилось, а скорее для того, чтобы поражать этой богатой строгостью рядом с изысканными нарядами и затейливыми прическами Эвелины, сразу же громко сказала: «Они ушли», явно желая доставить ей неприятность, как это свойственно девицам высокомерным и завистливым. При этом она бросила насмешливо-восторженный взгляд на белокурые косы, в которые Эвелина вплела живые цветы, и на платье из белого муслина, струящееся и воздушное, как облако.

– Кто ушел? – спросила Эвелина с неловким притворством. Но тут же, взяв себя в руки, добавила если не вполне чистосердечно, то по крайней мере очень любезно: – Разве папенька не здесь? Может быть, я зря наряжалась для него?

Каролина увела отца к столу.

– Папа проголодался. Сейчас он посмотрит, какая ты красивая. Но тебе тоже надо поесть, сестричка. Ты носилась верхом после обеда, и если не перекусишь сейчас, то опять разбудишь нас среди ночи, крича, что умираешь с голоду. Садитесь, я сейчас подам еду вам обоим. Можно, мама? – спросила она, поцеловав руку Олимпии, лежащую у нее на плече.

– Это дело нешуточное, – ответила госпожа Дютертр, нежно улыбаясь любимой падчерице. – Может быть, придется попросить еще разрешения у отца, а потом у твоей старшей сестры, а потом у второй...

– Я сегодня всем и все разрешаю, – весело сказал Дютертр, – только любите меня! За полгода разлуки я изголодался больше всего по вашей любви.

---

<sup>1</sup> Даму в старинном платье (англ.).

– Вас любят все, отец, – сказала Эвелина, – и я охотно разрешаю Малютке разыгрывать перед вами хозяйку дома. Она прекрасно с этим справляется, а я, когда перестаю бегать или скакать верхом, уже ни на что больше не гожусь. Мне легче заколоть кабана, чем разрезать жареную куропатку.

– Что касается меня, – сказала Натали, – то я совсем не разбираюсь во всех этих тонкостях домашнего хозяйства, которые носят возвышенное название «кулинария».

Довольная Каролина отослала слуг, уселась подле отца и с восторгом принялась за ним ухаживать, поминутно вскакивая с места.

– Послушайте, отец, – продолжала Натали, – расскажите нам что-нибудь об этом мыслителе, которого вы нам сегодня представили.

– Почему ты называешь его мыслителем? Он просто литератор; ведь ты, вероятно, говоришь о господине Тьерре?

– Да, о человеке, именуемом Тьерре, – с величественным презрением ответила Натали. – Нам так мало о нем говорили, – продолжала она, глядя на Олимпию, – мы и не предполагали, что он настолько важная особа. Наверно, это правда, потому что он говорит, садится, смотрит и ходит как великий человек. Он мыслитель по профессии, это видно даже по его одежде, вплоть до пуговиц на гамашах.

– А ты, как всегда, злая, Натали? – спросил Дютертр тоном, в котором было больше снисходительности, чем строгости.

– Натали любит подтрунивать над людьми, – еще мягче промолвила госпожа Дютертр, – но я готова спорить, что она даже не взглянула на человека, о котором так остроумно отзывалась.

– А вы, видимо, достаточно долго смотрели на него, что беретесь его защищать, – возразила Натали; ее тон как бы приглушался мягким тоном родителей и позволял ей говорить язвительные вещи с веселым видом.

Господин Дютертр удивился; он обернулся и посмотрел на Натали; встретив ее спокойный и чуть вызывающий взгляд, он ответил ей пристальным отеческим взглядом.

– Я посмотрел, к кому ты обращаешься, дочь моя; я думал, что ты, как всегда, поддразниваешь своих сестер.

– Поддразнивание Натали! – небрежно заметила Эвелина. – Слишком мягкое выражение!

Натали, которая очень хорошо поняла отцовский урок, не удостоила вниманием слова Эвелины и отвечала, обернувшись к господину Дютертру:

– Нет, отец, я обращалась именно к нашей милой Олимпии.

– К Олимпии! – сокрушенно сказал Дютертр и посмотрел на жену. – Скажите, дорогая, ваши дочери теперь называют вас по имени?

Госпожа Дютертр хотела что-то ответить, чтобы отвлечь его внимание от этой темы, но Натали опередила ее.

– Нет, отец, Малютка, – она показала кивком на Каролину, – все еще называет ее мамой, Эвелина с детской непосредственностью, которая ей очень к лицу, по-прежнему говорит «мамочка», но я, как совершеннолетняя...

– Ну, положим, еще нет! – возразил Дютертр.

– Простите, вы меня освободили от опеки, и в мои двадцать лет я уже могу смотреть на себя как на старую деву. Олимпия молода и выглядит даже моложе меня благодаря своей грации и красоте. Я уважаю ее, как вашу жену, но уважение, оставаясь искренним, вовсе не должно принимать смехотворную форму.

– Я что, сплю? Ничего не понимаю! Что за новая тема? Что здесь произошло в мое отсутствие?



– Ничего, – ответила Эвелина, – просто Натали стала еще более несносной и еще более дерзкой, чем раньше.

– Я могу развить эту тему, если отец захочет, – снова начала Натали, пренебрегая замечанием сестры.

– Послушаем! – сказал Дютертр, все еще пристально глядя на старшую дочь, в то время как Малютка, недовольная, что отца отвлекают, тормозила его, чтобы он продолжал есть.

– Так вот что я думаю – и пусть отец судит и разберанит меня, если я не права: моя мачеха...

Но ее прервала госпожа Дютертр, которая оперлась о спинку ее стула и наклонилась к ней, целуя ее в лоб:

– Дорогая Натали, уж лучше называйте меня Олимпией, если хотите отнять у меня сладостное имя матери, только не обращайтесь ко мне так торжественно и так холодно...

– И все же, сударыня...

Олимпия, болезненно уязвленная этим новым проявлением антипатии, невольно прижала руку к сердцу. Господин Дютертр нервно вздрогнул и слегка нахмурил лоб, чистый и гладкий, как обитель спокойствия.

– В чем дело, дорогой папенька? – воскликнула Малютка, хватаясь за его руку. – Вы порезались? – И она забрала яблоко, которое он держал в руках, собираясь сама разрезать его.

– Нет, моя маленькая, ничего, – отвечал отец семейства и, решившись как можно скорее разобраться самому в создавшемся положении, снова обратился к Натали: – Продолжай, дочь моя! Ты говорила...

– Я говорила, – по-прежнему спокойно отвечала Натали, – что называть мамой такую молодую мать совершенно неуместно в моем возрасте. Вы непременно хотите, чтобы я была смешна? Я больше всего на свете ненавижу корчить из себя пятнадцатилетнюю простушку, когда мне на самом деле двадцать, а по характеру – сорок. Кроме того, я думаю, что буду казаться всем ревнивицей, которая хочет состарить Олимпию.

– И все эти серьезные доводы ты вынашивала в мое отсутствие? – спросил Дютертр, умевший хладнокровно бороться с Натали, когда это бывало необходимо.

– Пока что, – спокойно и вместе с тем с угрозой сказала Натали, – других доводов у меня нет. Но и эти достаточно основательны. Не захотите же вы навязать мне манеры и язык, которые мне не подходят и сделают меня невыносимой для самой себя. Вы самый лучший и самый мудрый отец на свете; вы никогда не требовали от нас подчинения и ничем нас не оскорбляли. Вам, занимающемуся серьезными общественными проблемами, должно быть безразлично, что в доме, где вы не живете постоянно, придают какое-то значение мелочам домашнего этикета, если они ничем не нарушают мира в семье.

– Мир в семье – это, разумеется, кое-что, но это еще не все. Есть нечто более сладостное – единение; нечто большее, более прекрасное – любовь. Любите друг друга – вот высший закон, без которого погибают и семьи, и общество.

– О папочка, ты прав! – воскликнула Каролина. – Но не беспокойся. Здесь мы все любим друг друга! Я, например, люблю всех, и в первую очередь тебя, потом мамочку – она такая же добрая, как и ты, – и потом моих сестер, которые очень милы, хотя и немножко ветрены... Да и тебя тоже, хоть ты и первейший насмешник!

Последние слова относились к Амедю Дютертру, на которого устремились большие черные глаза Малютки; она обвела взглядом всю комнату, прежде чем остановиться на бледном, мечтательном и молчаливом молодом человеке, стоявшем сбоку, облокотившись о печь.

Амедей оторвался от своих мечтаний и машинально улыбнулся, услышав голос молодой девушки. Но то ли потому, что он не расслышал ее слов, то ли потому, что не мог изобразить веселье, он ничего не ответил.

– Следовательно, я выиграла процесс, и заседание окончено, – сказала Натали, в то время как ее отец отодвинул стул и отошел в сторону, как бы желая в последний раз обозреть свое стадо, прежде чем удалиться.

– Ваша речь построена на ребячестве, на пустяках, дитя мое. Но все же не надо, даже из ребячества, пренебрегать правилами, предписанными привязанностью. Вы уверены, что моя жена, а ваша мачеха и ваш лучший друг, совсем не страдает, когда вы...

– Нет, друг мой, я нисколько не страдаю, – поспешно прервала его госпожа Дютертр, – раз Натали не видит в этом проявления холодности; я даже предположить не хочу, что она желала как-то задеть меня. Тем не менее, если она позволит мне возразить, я бы сказала, что, без всяких оснований боясь показаться смешной, она делает смешной меня. Обращаясь ко мне как к молодой особе, она ставит меня в такое положение, словно я претендую на равенство с ней в возрасте, чего на самом деле нет.

– Отца бы это не оскорбило, – сказала скорее не подумав, чем враждебно, Эвелина.

– Тут должен высказаться сам отец, – возразила Натали. – Если он хочет, чтобы Олимпия имела вид нашей матери, пусть он заставит ее носить темные шерстяные платья и чепчик с рюшами, вместо того чтобы посылать ей из Парижа платья из розовой тафты...

– Которые она не носит! – И Дютертр бросил взгляд на черное бархатное платье жены.

– Но которые она будет носить, раз ты здесь! – воскликнула Каролина. – Не правда ли, мамочка, ты принарядишься для папы? Когда ты хорошо одета, когда ты такая красивая, я по его глазам вижу, что он доволен! Я тоже надену завтра розовое платье и доставлю тебе удовольствие, папа.

– Ах! Ты-то по крайней мере... – произнес Дютертр, прижимая Малютку к груди и прервав свою фразу поцелуем. Мысленно он ее закончил: «Ты по крайней мере, мое любимое дитя, разделяешь со мной мое счастье, вместо того чтобы меня попрекать».

К полуночи все разошлись по своим комнатам; но, за исключением слуг, в замке Пюи-Вердон никто не спал. Покои господина и госпожи Дютертр находились на стороне замка, противоположной той, где обитали барышни Дютертр и их главная служанка, добрая женщина, вскормившая Эвелину и воспитавшая всех троих; они ее прозвали Ворчуньей. Амедей Дютертр жил в красивой квадратной башне, у которой было два выхода: один во двор, а другой в сад. Из всех этих трех частей дома, выходявших окнами на южную лужайку, усеянную цветами и поросшую пышными деревьями, можно было в случае надобности оповестить друг друга и собраться всем вместе, что весьма удобно, когда люди живут совершенно обособленно.

Проникнем в покои барышень; большой нескромности в этом не будет, так как, за исключением Малютки, которую мы не станем беспокоить и которая молится одна в своей комнатке, никто еще и не думал ложиться спать. Три красивые комнаты, составлявшие эти покои, были соединены небольшой галереей: ее замкнули с обоих концов, чтобы сделать там общую гостиную, нечто вроде мастерской, где барышни, которые баловались живописью, писали этюды, а также занимались музыкой и рукоделием. Рояль, книги, мольберты, корзинки – все это приводилось в порядок по меньшей мере три раза в день неутомимой Ворчуньей с помощью терпеливой Малютки. Но к тому моменту, когда мы туда проникли, Ворчунья уже удалилась в свою комнату, расположенную напротив галереи, и в элегантной гостиной, которую порывистая львица и задумчивая резонерша сделали в этот вечер своим штабом, снова воцарился беспорядок.

Когда мы называем Эвелину порывистой, это отнюдь не значит, что она позволяла себе развязность в поведении или небрежность в костюме. Как только она снимала сафьяновые сапожки и фетровую шляпу, она становилась, как мы уже говорили, принцессой; и сколько же требовалось батиста, духов, кружев, атласа, чтобы ее тело, с виду такое хрупкое, наслаждалось отдыхом после усилий, на которые толкала ее прихотливая фантазия. Но так как Эвелина была по своему складу «разбросахой», как прозвала ее Ворчунья, то, в зависимости от того, напа-

дала на нее лень или жажда бурной деятельности, хотелось ли ей поскорее уйти откуда-нибудь или прилечь, нужно было, чтобы все вещи, попадавшиеся по дороге, немедленно уступали ей место. Поэтому, как ни было изнежено и выхолено ее царственное тело, все, чем она пользовалась, приобретало неряшливый вид и быстро ветшало. Роскошный муар кресел, на которые укладывались после охоты ноги прямо в сапогах, бархатные диваны, на которые сажали любимых собак, занавеси из индийского муслина, которые дергали нетерпеливой рукой, турецкие ковры, вечно облитые чернилами, все эти беспрестанно обновляемые предметы роскоши, в которых Эвелина так нуждалась и с которыми обращалась так безжалостно, были запачканы, потрепаны, обесцвечены; за несколько дней они утрачивали не только великолепие, но и опрятность, и, если можно так выразиться, приличный вид.

Весь этот беспорядок представлял собой полную противоположность целомудренному святилищу, где Каролина, в то время как ее сестры часто проводили ночи в болтовне, запиралась, чтобы читать свои наивные молитвы, составлять список мелких личных расходов, которые почти все состояли из подаваний, чинить тайком какие-нибудь поношенные вещи (ибо ей доставляло удовольствие не позволять себе лени, оправданной богатством), наконец, повторять уроки и добросовестно усваивать те основы образования, которыми ее сестры слишком быстро пренебрегли, чтобы познавать вещи, с ее точки зрения, весьма легкомысленные.

Мы называем легкомысленными занятия, к которым только чуть прикасаются, не углубляясь в них. По нашему мнению, так называемое искусство, или умение быть приятным в обществе, находится в обеспеченных буржуазных семьях в варварском состоянии. Куда уместнее было бы назвать то, чему учат молодых девиц, искусством доставлять неприятности окружающим, которые оказываются вынужденными терпеть все это – рассматривать созданные ими семейные портреты, слушать в их исполнении романсы, или фортепьянные пьесы, или даже их собственные стихи.

Эвелина и Натали не находились на этом печальном уровне. Они обе обладали некоторыми дарованиями, одна – музыкальным, другая – поэтическим. У Эвелины были ловкие пальцы и бурная фантазия, и она хоть и нерегулярно, но яростно терзала свой рояль, почти всегда расстроенный либо от длительного небрежения, либо от безжалостного пользования. Натали писала и в самом деле недурные стихи, иногда отличные по форме, но откуда ей было взять глубокое содержание? Сердце ее было холодно и замкнуто; ее воображение, еще ни разу не взволнованное чувством, оставалось лишь стальным зеркалом, четко отражавшим внешние предметы. Она была наблюдательна и нередко находила верные, а порой даже меткие выражения. Она любила это занятие и с удовольствием преодолевала трудности рифмовки и размера, как опытный и усердный чеканщик работает с неподатливым материалом. У Натали был хороший вкус, и она невысоко ценила моду, но, любя идти против течения, она охотно воспроизводила все современные жанры, преувеличивая и выпячивая недостатки романтической школы. Считая это трудной победой, она тешила таким образом свое тщеславие. Незаметно для себя она все же усваивала характерные черты романтической поэзии, но они не были ей органически свойственны и, будучи пропущены через равнодушный ум и холодное сердце, теряли всякую оригинальность.

Ее по-своему яркая личность проявлялась лишь в высмеивании и в отрицании. Атеистка по природе, она если и не отрицала начисто существование божества, то обвиняла его и судила его законы с необычайной смелостью. Если ее раздражали какие-нибудь люди или вещи, она втайне успокаивалась от своих обид и огорчений, изливая их в бурных декламациях, удивительно искусно построенных. В этом находил выражение весь ее талант, весьма незаурядный для женщины, но недостаточно пылкий, чтобы быть мужественным, и недостаточно нежный, чтобы быть женственным.

Эвелина и Натали были слишком хорошо воспитаны, слишком мало провинциальны и имели дело со слишком разумными родителями, чтобы стремиться пускать пыль в глаза невеж-

дам. Они наверняка получили бы удовольствие, приобщая родных к своим маленьким победам, если бы сами не разрушали, словно назло, радость семейной жизни: одна – странными выходками и капризами, которые позволяла себе как избалованный и властный ребенок, другая – гордой язвительностью. Обе боялись пристрастия в суждениях своих родных, и, вдобавок, обе были заранее уверены, что друг у друга встретят уже готовую недоброжелательную или презрительную оценку.

Несмотря на инстинктивную взаимную антипатию обеих сестер, они с трудом обходились одна без другой, когда выступали против третьей силы в доме. Разговор, который мы сейчас приведем, объяснит необходимость этого их союза для совместного наступления, при отсутствии, однако, единства в обороне.

## IV

– Неужели еще только полночь? – спросила Эвелина, которая перелистывала, не читая, роман Вальтера Скотта; она растянулась на мягком диване и то перебирала выбившиеся пряди своих чудесных волос, то теребила уши огромного, великолепного ньюфаундленда.

– Мне тоже сегодняшний день кажется очень долгим, – ответила Натали, уверенно переписывая каллиграфическим почерком на толстую и ломкую веленевую бумагу длинный пассаж собственного сочинения.

– Впрочем, объяснить это нетрудно – ведь мы уже добрый час сидим вдвоем.

– Эвелина, у тебя входит в привычку говорить со мной язвительным тоном; это истощило бы чье угодно терпение, но я решила просто не замечать твоих колкостей. И ты, дорогая моя, даже не подозреваешь, почему я молчу.

– Ну что ты! Спокойствие, вызванное презрением, терпение, основывающееся на силе. Ты можешь повергнуть меня в прах одним словом!

– Все возможно.

– Но я слаба, и тебе жаль меня.

– И это возможно.

– Напрасно ты разыгрываешь великодушие, Натали, ты ведь, напротив, скупа; ты копишь сокровища своей мести и одним вовремя сказанным словом уничтожаешь арсенал моих насмешек. Но я добрее тебя и признаюсь, что не права. Не лучше ли нам не ссориться, а поддерживать друг друга, особенно теперь, когда мы обречены проводить долгие часы вдвоем?

– Я на это не жалуюсь и предпочитаю, при всех свойственных тебе чудачествах, твое общество и твою бессвязную болтовню притворной ласковости Олимпии, мелкому предательству этой дурочки Малютки, педагогическим нравоучениям господина Амедее и особенно возмущению нашего бедного отца, которое он теперь так плохо сдерживает.

– Иными словами, ты ненавидишь все и вся, ты тешишь себя своим презрением, внушенным тебе озлобленностью? Сделала бы исключение хотя бы для отца...

– Ага! Сегодня ты решила изображать нежную и послушную дочь! Да, да, так оно и было, я видела! Эвелина, ты малодушна!

– Сердцем – может быть! Зато у меня есть физическая храбрость, я ею довольствуюсь и не краснею оттого, что уступаю прихотям такого снисходительного ко мне и вообще такого безупречного отца!

– Ну да, и ты готова проявлять к нему полнейшее почтение, при условии, разумеется, что он разрешит тебе делать все, что вздумается, даже самые нелепые вещи, бегать с кем угодно, в любое время, по всем дорогам, подвергать опасности свою репутацию...

– Стоп, стоп, моя красавица! Вы охотнее, чем кто-либо другой, предполагаете самое дурное. Но вы живете своими книгами и во всем, что вас окружает, предполагаете, а следовательно, и видите, только зло. Моя репутация ничего не потеряет от дневного света и свежего воздуха. Чем больше будет свидетелей моих поступков, тем меньше опасность кривотолков, а добродетель, окруженная лошадьми, берейторами и собаками, вообще никакой опасности не подвергается. К тому же всем известно, что рука, которая может сдерживать необъезженную лошадь, сумеет и наказать дерзость и что я действую хлыстом так же ловко, как мужчина шпагой.

– Прекрасно! Все эти доводы кажутся мне проявлением весьма дурного вкуса. В руках женщины не должно быть никакого оружия, ее строгая внешность и серьезные привычки обязаны охранять ее даже от мысли об оскорблении. Но оставим это! Я считаю, что скорее твой верный спутник Амедей должен сдерживать смельчаков, чем ты сама обороняться от них.

– Амедей глуп; если он увидит, что меня оскорбляют, он, несомненно, отомстит за меня, но постарается при этом доказать мне, что я неправа, что я сама виновата, и станет кричать при этом, как школьный учитель в басне: «Что я вам говорил!»<sup>[12]</sup>

– В самом деле, возмутительно: бедный мальчик из-за твоих глупостей дает перерезать себе горло, но посмеивается при этом и легонько укоряет свою обожаемую повелительницу!

– Обожаемую! Новое словечко! Значит, ты, злючка, собираешься теперь выставить меня на посмеище за то, что в меня якобы влюблен мой двоюродный братец, мальчик, у которого на наших глазах стала пробиваться борода?

– У этого мальчика теперь очень красивая борода, и ему двадцать четыре года, ровно столько же, сколько госпоже Олимпии.

– Ну и что ты хочешь этим доказать? Женщина в двадцать четыре года вдвое старше молодого человека того же возраста.

На губах у Натали мелькнула зловещая усмешка:

– Стало быть, ты не думаешь, что он может быть влюблен...

– В кого? – удивленно спросила Эвелина.

– В тебя, – небрежно уронила Натали.

– Надеюсь, что ему и в голову не приходит ничего подобного! Милый ребенок! Меня это огорчило бы, потому что я его очень люблю. Он славный мальчик, несмотря на свои причуды, он вырос вместе с нами, и я отношусь к нему как к брату. Может быть, ты относишься к нему иначе? Может быть, ты ревнуешь? Ты ведь и думаешь, и все делаешь не так, как другие!

Натали ответила лишь улыбкой и движением плеч, более выразительным, чем все слова, которыми можно передать презрение к личности мужского пола. Потом она зевнула, подперла высокий лоб длинной белой рукой, заменила полустышие, казавшееся ей бесцветным, и стала писать дальше.

Часы пробили четверть первого.

– Эта ночь тянется целый век, – сказала Эвелина, роняя книгу, которую Тизифона, ее любимая охотничья собака, принялась с увлечением трепать.

– Это животное ест твою книгу, – не двигаясь с места, заметила Натали.

– Пусть ест. Книга мне наскучила. Ненавижу Вальтера Скотта.

– И тем не менее то и дело корчишь из себя Диану Вернон<sup>[13]</sup>.

– А ты – королеву Елизавету<sup>[14]</sup>, а Каролина – Золушку. Все кому-нибудь подражают, преднамеренно или невольно. Нет такого человека, который не нашел бы похожего на себя персонажа в романе, басне или в истории. Правда, сходство часто бывает смешным из-за разницы в положении. Например, Малютка: живя в таком замке, как наш, окруженная прислугой, пользуясь предпочтением снисходительного отца, она кажется просто нелепой, когда сама бросается готовить ему чашку шоколада с такой поспешностью, с таким старанием, словно ее ждут за это ругань и шлепки! Я, наверно, смешна, когда делаю вид, что разыскиваю среди лесов и холмов изгнанного и преследуемого отца, в то время как он преспокойно заседает в палате<sup>[15]</sup> и пользуется всеобщей любовью и уважением... А тебе, бедняжка Натали, вместо самого блестящего в Европе двора приходится тиранить всего лишь докучливую и спокойную семью...

– Докучливую – верно, – прервала ее Натали, – но спокойную?.. Это тебе нравится так ее называть. Знаешь, Эвелина, отчего нам сейчас не хочется ни бодрствовать, ни спать? Оттого что нам скучно, но мы отнюдь не спокойны.

– Почему? Может быть, у нас характеры такие?

– У тебя характер ребенка, который всем забавляется, у меня – женщины, которая многое презирает. Разумеется, мы можем развлекать себя сами, ты – занимаясь легкомысленными вещами, я – серьезными. Но причина тревоги, которая уже коснулась нас и рано или поздно приведет к катастрофе, кроется вовсе не в нас самих. Это роковая, нелепая и, увы, непреодолимая в нашей судьбе вещь – любовь нашего отца к женщине, которая не наша мать.

– Ах, Натали, умоляю тебя, не выставляй нашу бедную мать как повод для нескончаемого процесса, который ты ведешь против отца. Тебе было всего четыре года, когда она умерла, мне – два, Малютка только что родилась; ни одна из нас не знала ее настолько, чтобы вспоминать о ней сегодня. Наша дочерняя любовь всегда лишь очень неопределенное чувство. Мы не можем упрекнуть отца в том, что он уделил слишком мало времени горю. Он надумал жениться во второй раз лишь через двенадцать лет; такую скорбь может превзойти только скорбь малабарской вдовы<sup>[16]</sup>.

– Как ты легко судишь обо всем, особенно о серьезных вещах! Я не утверждаю, что отец женился во второй раз слишком рано; напротив, я считаю, что он женился слишком поздно для нас!

– Но и нам поздно упрекать его, особенно тебе. Тебе было уже шестнадцать лет, когда он сообщил о своем намерении. Ведь он был так счастлив, хотя, как превосходный отец, отказался бы от этого счастья, если бы увидел, что мы полны страха и отчаяния.

– Подумаешь, какая веская причина для отказа от подобного безумства – несогласие трех маленьких девочек, скучавших в монастыре и спешивших выйти оттуда! Я, например, была в восторге, когда отец, который сам отдался, как ребенок, своей страсти, расписывал нам, детям, все прелести свободы и жизни среди роскоши в деревне. В шестнадцать лет это должно было казаться чудесным.

– И в восемнадцать тоже; я до сих пор очень довольна.

– Неправда, ты начинаешь скучать здесь, а я скучаю уже давно. Мы рождены для светской жизни, для нее были воспитаны; мы жаждем своей стихии, а живем здесь, как рыбы, выброшенные на траву и раскрывающие на солнце рты, прислушиваясь к отдаленному плеску реки.

– Знаешь, Натали, ты несправедлива: разве мы здесь никого не видим? Разве для богатых людей нет повсюду светского общества? Через три дня приезд отца станет событием в наших краях и у нас начнут глаза разбегаться: у тебя будет целый двор, состоящий из глубокомысленных молодых людей, у меня – свита из вертопрахов...

– Да, да, волшебный фонарь, который просуществует два месяца, а когда отец вернется к своей парламентской деятельности – снова одиночество, молчание, зима! Потом весна без любви и надежд, потом – унылое, гнетущее лето со жнецами для усаждения глаз и мухами в качестве общества.

– Конечно, год в глуши, длящийся десять месяцев, несколько долог, но можно ведь как-то убивать время; а что касается любви, сладости которой ты так спешишь изведать, так я, например, о ней еще и не думаю.

– Неправда, повторяю тебе! Ты думаешь о ней реже и не так серьезно, как я, – это возможно, но и ты уже начинаешь уверять себя, что здесь любви нет и сюда она к нам не придет.

– Почему? До сих пор нам хватало поклонников...

– Случайных поклонников, из которых ни один нам не подходил!

– Мы их всех очень мало поощряли. Мы с тобой слишком разборчивы, признайся.

– Ничего удивительного! Нас не только трудно удовлетворить, нас трудно выдать замуж.

– Напротив, мы богаты и имеем возможность выйти за людей без состояния, если, разумеется, они будут порядочными, хорошо воспитанными, трудолюбивыми... Чего же еще желать? У отца на этот счет есть прекрасные теории, довольно романтические...

– И, следовательно, неосуществимые! Бедные молодые люди, которые домогаются богатых наследниц, не очень-то порядочны – ведь они обманывают девушек, делая вид, будто любят в них не их приданое, а нечто другое. Ну а богатые молодые люди дерзки, невежественны, легкомысленны, глупы...

– Какой пессимизм! Ты, наверно, видишь мир в таком свете просто из-за своей желчности. Но если это так, тогда не нас трудно выдать замуж, а трудно найти людей, за которых можно выйти.

– В том, что ты говоришь, есть, конечно, доля истины. Но трудно – не значит невозможно. Надо только оказаться в условиях, в которых ум, проницательность, рассудительность могут как-то пригодиться. Поэтому, если бы мы бывали в свете, жили в Париже, путешествовали по Англии, Германии, Италии, вообще вели жизнь, сообразную нашему положению в обществе, то в волнах этого моря мы бы сумели различить и выловить из сонма простых раковин нужную нам жемчужину.

– Неудачная метафора, дорогая: жемчужина всегда спрятана в раковине.

– Дурочка! Вечно ты придираешься к словам, ни о чем не думаешь всерьез. Мы богаты, мы красивы, мы выше многих из светских женщин, и тем не менее нам, быть может, предстоит дожидаться здесь улитки, которою цапле из басни пришлось довольствоваться в вечерний час<sup>[17]</sup>. Если так будет продолжаться, нам останется только разорвать нашего двоюродного брата на части.

– Вот именно: или всем, или никому...

– Да, иными словами – ждать у моря погоды...

– Как меня раздражают твои глупые шутки! Посмотрим, будешь ли ты так смеяться в тот день, когда отец придет и скажет нам: «Вас трое; вот мой племянник Амедей Дютертр, которого я выпестовал для вас, решайте!»

– Неужели ты думаешь, что отец предназначает его кому-нибудь из нас?

– Надеюсь, что он приберегает его для Малютки. Эти прелестные дети созданы друг для друга; не думаю, что меня могут оскорбить, предложив его мне!

– Потому что ты мечтаешь о любви, об идеале, не знаю уж о чем! Малютка же пока думает, а может быть, и всегда будет думать только об одном: как разводить канареек. Но, признаюсь, если б я была вынуждена, за неимением выбора, сохранить в неприкосновенности фамилию Дютертр, я бы предпочла кузена Амедея многим другим. Он мне совсем не нравится, уверяю тебя, он даже немного неприятен и скучен! Но в общем-то он самый красивый, самый благопристойный, самый образованный, самый подходящий из всех, кем мы располагаем для того, чтобы приобрести мужа в деревне.

«Наконец-то! Сейчас мы к этому придем, – подумала Натали, – но не сразу... Сначала посмотрим!»

– Эвелина, – сказала она вслух, словно не слышала ее замечания по поводу Амедея, – что ты скажешь об этих двух новых лицах, появившихся у нас сегодня? Их не захотели продемонстрировать нам при свете...

– Я видела их мельком во дворе. Один из них показался мне безупречным, настоящий лев!

– Господин де Сож?

– Да, наш новый сосед.

– Он тебе понравился?

– Очень – прелестный, очаровательный человек! Но после первого взгляда – уступки любопытству – я больше не обращала на него внимания.

– Почему?

– Не люблю зверей своей собственной породы. Я их слишком хорошо знаю. Львица, приходящая в восторг от льва! Куда это годится?

– Но этот лев хотя бы умен?

– А разве я не умна, хоть и львица? Нет, дорогая, нет, подобные избегают друг друга, а противоположности сходятся – вот как я мыслю о любви и замужестве.

– Значит, писатель тебе понравился больше?

– Да; у него не совсем обычное лицо: желтое, желчное, не слишком молодое; но глаза необычайно выразительные, зубы такие белые, волосы такие черные... и лукавая улыбка... Физиономия, в которой внутреннее достоинство освещает черты, может быть неправильные,



да и довольно заурядные... Ты смеешься? Возможно, глупцам он покажется некрасивым. Но в нем есть что-то мечтательное, страдальческое, меланхоличное и насмешливое, а это, по-моему, необходимо даже красоте, чтобы она не была скучной. У него что, большое имя в литературе, у этого Жюль Тьерре?

– Понятия не имею, – процедила сквозь зубы Натали. – Есть по крайней мере две-три тысячи знаменитых писателей, о которых никто не слышал, кроме членов каких-то кружков, где они числятся.

– Это не значит, что у него нет большого таланта.

– Бог мой! Он, как и всякий другой, может стать первоклассным писателем! Надо только, чтобы тебя восхвалял определенный круг людей, и надо найти, чем можно угодить читателю в данный момент! Но какое значение имеет его место в иерархии великих умов, если он тебе нравится сам по себе? Ведь он тебе немножко нравится?

– Сегодня – даже очень. Но кто знает, будет ли он нравиться мне завтра?

– Постарайся, чтобы он тебе больше не нравился.

– Почему?

– Потому что ты ему не нравишься.

– С чего ты взяла?

– Я это заметила в тот самый момент, когда увидела кое-что еще.

– Что же именно?

– Что он влюблен в другую.

– В тебя?

– Нет; в Олимпию Дютертр.

– Ну да? – удивленно воскликнула Эвелина и добавила равнодушно: – А какое мне, собственно, до этого дело?

Натали пожала плечами:

– А мне тем более.

– Ты уверена в этом? – задумчиво спросила Эвелина.

– Я была в этом уверена еще до того, как он приехал сюда. Когда она в последний раз ездила в Париж без нас, он написал ей в альбом стихи – кстати, довольно плоские.

– Она тебе их показывала?

– Я и не спрашивала у нее позволения прочитать. Разве в альбом пишут секреты?

– Значит, эти стихи ничего не доказывают.

– Дорогая моя, в высшем обществе стихи – это способ объяснения в любви женщине под носом у ее мужа и перед всеми.

– Но ты же говоришь, что они плоские?

– Хочешь прочесть? Они у меня.

– Ах, ты списала их?

– Нет, просто запомнила...

И она передала Эвелине листок бумаги.

– А мне они кажутся восхитительными! – прочитав их, воскликнула Эвелина. – Они мне нравятся куда больше, чем все твои!

– Потому что ты в этом не разбираешься. У них есть только одно достоинство – в них довольно ловко выражена пылкая страсть.

– Посмотрим! – Эвелина перечла их, потом задумалась, храня молчание. – Я вижу в них больше лести, чем любви, – добавила она.

– А разве лесь не язык любви?

– Эта лесь чрезмерна.

– Олимпия в самом деле очень хороша, тут спорить не станешь.

– Слишком бледна!

– Нынче в моде бледность, она имеет наибольший успех у артистических натур. Твой румянец, порой слишком яркий, в гостиных не понравился бы.

– Ну, у них просто извращенные вкусы! Но какое мне до этого дело, повторяю? Если мой цвет лица кажется рифмоплету слишком свежим, то дворянин будет ко мне более справедлив: он увидит, кто из нас, я или Олимпия, умеет перейти с шага на галоп и обратно при опасном повороте; стихов он мне писать не станет, но с этим придется примириться.

– Ты забываешь, что подобные избегают друг друга, а противоположности сходятся! Ты пришла льву так же мало по вкусу, как он тебе.

– Ты и это разглядела сегодня в гостиной, где ничего не было видно?

– Я слышала.

– Как? И этот тоже ухаживает за Олимпией?

– Он будет ухаживать за ней; она очаровала его несколькими словами – она умеет беседовать и весьма обворожительна. Он спросил у нее, ездит ли она верхом. «Очень мало, – ответила она, – у меня нет времени». Тут он воскликнул, что она совершенно права: незачем тратить время на подобные развлечения, он сам пресытился этим. Он, мол, перестал понимать, как можно находить удовольствие в том, чтобы ехать верхом рядом с женщиной – ведь это самый неудобный способ вести беседу, а когда имеешь счастье слышать такой голос, как ее, приходится только сожалеть о том, сколько он теряет от движения и шума, неизбежных при верховой езде.

– Да, это было не очень лестно для меня... в глазах моего отца – он и сам не раз упрекал меня, что я провожу свою жизнь верхом.

– Отец ничего не слышал. И разве ты не заметила, что с молодыми женщинами всегда говорят тихо, а с мужьями и девицами – громко?

– Какая ты злая, Натали! Тебе хочется, чтобы я стала ревновать к мачехе. Ничего не выйдет, предупреждаю тебя, я не стану ревновать из соперничества и кокетства. Я буду ревновать лишь тогда, когда она отнимет у нас сердце нашего отца.

– А по-твоему, этого еще не произошло?

– Нет, нет, тысячу раз нет! Замолчи!

– Ты находишь, что отец проявил к нам нежность, покинув нас и отослав нас спать до одиннадцати часов в день своего приезда?

– Он устал с дороги и хотел спать.

– А ведь он и не думал ложиться. Посмотри – их окна пылают в ночи, как пламя любви в ослепленной душе бедного молодого человека, который зовется нашим папочкой!

И Натали рассмеялась нервным, полным ненависти смехом – слушать его было страшно. То не была несправедливая, но понятная ревность дочери, оспаривающей любовь отца. То была глубокая злость бессердечной женщины, которая ненавидит и клянет чужое счастье.

Эвелина пришла в ужас. Она залилась жгучей краской.

– Значит, они очень любят друг друга, – сказала она, глубоко вдохнув свежий ночной воздух. И, сделав над собой последнее усилие, чтобы избежать зловредного влияния старшей сестры, она переменяла тему разговора: – Сегодня, кажется, никто не спит: окна Амедея тоже освещены. Добряк он, наш Амедей! Он работает, выводит цифры, подсчитывает наши богатства и умножает их своей экономией и порядком в делах.

Потом, следуя вполне естественному ходу мыслей, Эвелина добавила:

– У него нет ни гроша за душой, а он и не думает об этом – он управляет делами нашей семьи. Для себя ему ничего не надо – он счастлив тем, что может быть полезен отцу и нам! Что ж, будет только справедливо, если одна из нас когда-нибудь вознаградит его за все старания и бескорыстие! Право, Натали, если Олимпия отнимает у нас случайных поклонников, она поступает правильно и даже оказывает нам услугу: ведь счастье, быть может, находится там, в

этой башне, где Амедей ночами не спит ради нас. Мне кажется, что та, которая найдет к нему дорогу, будет самой разумной из троих.

– Стало быть, ты, за неимением лучшего, хочешь остановить свой выбор на нашем кузене? – торжествующе сказала Натали, после многих уловок приведя наконец Эвелину к намеченной цели. – Увы, дорогая крошка, тебе придется отказаться и от этого последнего утешения. Тут мешают прелести более могущественные, чем твои; не о тебе, которую он презирает за ветреность, не обо мне, которую он ненавидит за проникательность, и не о Малютке, которая для него нуль, думает сейчас романтический и меланхолический Амедей.

Эвелина отошла от окна.

– Ты ужасный человек, Натали, неужели ты думаешь, что наша мачеха...

– Молчи и смотри, – ответила Натали, выталкивая сестру на балкон.

## V

– На что я должна смотреть? – спросила Эвелина, уступая непреодолимому любопытству.

– Ни на что; на эту бледную луну, которая как безумная мчится в облаках. – Потом, опустив тяжелую штору, чтобы снаружи не был виден свет в их окне, Натали добавила, понизив голос: – Говори шепотом и смотри на окно Амедея.

– Оно закрыто, и, кроме того, там муслиновая занавеска. Но можно различить светящийся шар его лампы.

– По-твоему, он дома? Работает и думает лишь о том, сколько голов скота мы продали за год и сколько зерна ссыпали в амбары во время последней жатвы?

– Ну и что?

– Амедея нет в его комнате, нет в башне; он просто не гасит свою лампу, чтобы мы думали, будто он занят цифрами. Если бы сосны не скрывали от нас его дверь, ты увидела бы, что она открыта.

– Так где же он?

– Посмотри теперь на то крыло. Оно было ярко освещено, а сейчас там темно. Отец у себя в комнате, Олимпия у себя; один спит, другая считается спящей.

– Что ты хочешь этим сказать, в конце концов?

– Посмотри на кусты ломоноса под окном Олимпии – они скрывают от нас дверь из ее будуара, которая выходит на крыльцо башенки; разве ты ничего не видишь?

– Ничего.

– Всмотрись хорошенько; когда эта тучка уйдет, откроется луна; теперь ты видишь – рядом с кустами, там, где чистый белый песок?

– Вижу как бы черную черточку. Это тень от чего-то.

– Или от кого-то.

– Она неподвижна... Это тень от какого-то предмета, который мы не можем различить.

– А сейчас она тоже неподвижна?

– Нет, тень растет, уменьшается... Она ходит. О, как ее хорошо видно! Там какой-то человек, теперь я в этом не сомневаюсь. Человек, который думает, что его скрывают деревья, но луна освещает его сбоку. Он и не предполагает, что мы видим его силуэт. Это Амедей? Скажи, Натали, это он?

– Он или она. А может быть, оба.

– Там только одна тень, клянусь богом.

– Значит, это он. Сколько раз в еще более светлые ночи я видела, как с этой стороны раскачиваются ветки; сколько раз, когда наступает тишина, я слышала, как легонько поскрипывает дверь Амедея, открываясь или закрываясь. А потом за его окном проходит тень, и свет исчезает. Это он возвращается домой и гасит лампу, якобы освещавшую его трудовые бессонные ночи. Сколько я еще разного видела! Я многое знаю! Сколько подавленных вздохов, сколько взглядов, брошенных украдкой, сколько подобранных с земли забытых цветов, сколько внезапных переходов от жаркого румянца к смертельной бледности... Бедный молодой человек сходит с ума.

– Амедей, такой холодный, такой неуязвимый, Амедей, который ничего не видит, ни о чем не догадывается, которому надо чуть ли не открыто делать авансы, дабы он понял, что может понравиться кому-то!

– Ага, Эвелина, так ты делала ему авансы? Ты сама себя выдала!

– Не больше, чем кому-либо другому. Я всем понемножку делаю авансы ради удовольствия доводить до отчаяния тех, кто окажется у моих ног. Что тут плохого?

– Ну, это мелко и дешево – Олимпия умеет властвовать куда лучше, чем ты! Она-то ничего не говорит! Она обвораживает; она не призывает – она ждет; она никогда не вступает в борьбу и всегда побеждает.

– Стало быть, по-твоему, она первостатейная кокетка?

– До чего же ты наивна! Задать подобный вопрос!..

– Ну, значит, мне надо понаблюдать за ней, поучиться и, если ее способ лучше моего, воспользоваться им.

Тут Эвелина, обеспокоенная и озадаченная, несмотря на свое легкомыслие и беззлостность, вдруг ушла с балкона. Облака закрывали луну, и наблюдать было больше невозможно. А главное, она не хотела слушать Натали, чувствуя, что слова сестры напитаны ядом. Как девушка добрая и мужественная, она сопротивлялась изо всех сил, но удар был нанесен. Терзавшее Эвелину непреодолимое желание нравиться и властвовать встретило препятствие, которым она до сих пор пренебрегала и которое теперь начало мешать ей и даже пугать ее. В эту ночь она спала очень плохо, ей снились Тьерре, Флавьен и Амедей, причем она не знала, кто из них больше завладел ее мыслями.

Что же касается Натали, то она давно уже не спала так спокойно. Она достигла своей цели и добилась первой победы.

Каролина, которая легла на два часа раньше сестер, проснулась на рассвете, угнетенная страшным кошмаром. Ей снилось, что сова рвет когтями ее самую красивую малиновку. Девочка кинулась к окну, открыла его, и прирученная, но свободная малиновка, спавшая на соседнем дереве, тотчас же влетела в комнату и запорхала над ее головой. Малютка утерла слезы, поймала птичку и отпустила ее, а сама вернулась в постель.

Амедей уже встал; отправляясь присмотреть за полевыми работами, он, проходя через лужайку, увидел Малютку у окна, но та смотрела только на свою птичку.

Когда взошло солнце, Флавьен, отлично выспавшийся у себя в «замке», вошел уже одетый в комнату Тьерре.

– Вставай, лентяй! – воскликнул он. – Утро чудесное. Ты прозеваешь самое яркое солнце, которое когда-либо золотило верхушки наших лесов, – добавил он с пафосом.

– Куда мы едем? – спросил Тьерре еще сонным голосом.

– Мы едем в ближайший морванский городок искать какого-нибудь нотариуса; мне надо, чтобы он заверил мою подпись под самой торжественной доверенностью из всех, какие ему, наверно, довелось составлять в жизни. Я хочу сыграть шутку – не бойся, вполне добродушную – с нашим соседом Дютертром. Он мне нравится, и я это докажу – сегодня же утром вручу ему документ; пусть потом хранит его в своем архиве. Эта бумага даст господину Дютертру полное право продать самому себе на любых удобных ему условиях некую недвижимость, которую он желает приобрести.

Тьерре протер глаза.

– Весьма галантно, – сказал он. – Манеры истого дворянина. Ты даже не знаешь, какие счастливы вы, знатные дворяне: вы можете – конечно, если вы достаточно богаты – позволить себе столь безумный риск, зная, что вас никто за это не осудит. Если бы такой поступок совершил бедный поэт, про него сказали бы: «Вот сумасшедший, разыгрывает из себя знатного сеньора и жертвует из пустого тщеславия единственным куском хлеба, заработанным ценой бессонных ночей!» Если бы на такую операцию решился мелкий буржуа, сказали бы: «Вот пройдоха! Знает, верно, с кем имеет дело, понимает, что, выказывая такое доверие, извлечет из этого двойную выгоду!» А вот для графа Флавьена де Сож это не более чем любезность человека, умеющего вести себя в обществе. Да и что значит для тебя безделица в сто тысяч франков! Видишь, я с тобой откровенен, как ни с одной женщиной!

– Господин граф приказал подать лошадей; они ждут, – доложил, войдя в спальню, Жерве.

– Лошадей! – воскликнул, смеясь, Флавьен. – Наш славный старикан всерьез играет тут роль Калеба из Равенсвуда<sup>[18]</sup>. Я просил подать колымагу и Сезара, милый Жерве. Мы с тобой посмотрим в Шато-Шинон, нельзя ли купить или нанять на то время, что мы будем здесь, коляску полегче и лошадку порезвее.

– Господин граф думает, что я шучу. Но во дворе стоят две отличные лошадки, уже оседланные, и грум на третьей лошади; а в сарае находится прелесть какая охотничья коляска. Если вам угодно взглянуть...

Жерве открыл окно; Флавьен и Тьерре подбежали и увидели воочию чудеса, о которых тот говорил. Они сразу же спустились во двор, чтобы рассмотреть их поближе.

– Что за фея приготовила нам такой сюрприз? – спросил Флавьен. – Может быть, среди наших соседей есть какой-то разорившийся потомок знатной семьи, и он посылает нам на пробу все, что будет продавать с торгов?

– Что вы, сударь, дело обстоит куда проще. Господин граф сказал при мне вчера, что надо посмотреть в окрестностях, какие там есть лошади и коляски. Я рассказал об этом слугам в Пюи-Вердоне, они все передали своим хозяевам, и только что их грум приехал с лошадьми, другим слугой и коляской. Слуга уехал, сказав, что все это к услугам господина графа на любое время, какое ему понадобится: грум, экипаж и лошади.

– Вот тебя и обошли, вернее – обскакали! – сказал Тьерре Флавьену. – Дютертр, по-видимому, встает раньше тебя, и его учтивость опередила твою!

– Я в долгу не останусь.

– Каким же образом?

– А вот это ты мне подскажешь, ведь идеи – это по твоей части.

– Пожалуйста, одна уже пришла мне в голову: отправь к нему Сезара и Жерве в огромном сосуде с винным спиртом, быть может, у него есть музей древностей.

Жерве скорчил гримасу, которая должна была изобразить улыбку; но в ней было больше презрения, чем восхищения остроумием Тьерре.

– Нет, это испугает дам, – ответил Флавьен. – А если я пошлю к ним тебя?

– В спирту?

Груму, который придерживал лошадей и, казалось, ничего не слышал, их разговор понравился, и он засмеялся, расплывшись до ушей.

– Это грум мадемуазель Эвелины, – сказал Тьерре Флавьену. – Без юной львицы и тут не обошлось – ведь это она уступает тебе часть своего зверинца.

– Как тебя зовут? – спросил грума Флавьен.

– Креж, господин граф, – уверенно ответил тот.

– Это местное имя?

– Нет, сударь, это прозвище, которое мне дала госпожа.

– Прозвище? Креж! Не понимаю, – сказал Тьерре.

– Когда госпожа Эвелина повысила мне жалованье, я сказал ей: «Спасибо, сударыня, теперь я богат, как Креж». С того дня госпожа только так меня и называет, и все к этому привыкли.

– Отлично, – молвил Флавьен, – вы мне кажетесь весьма остроумным, господин Креж. Так вот: я дам вам пять луидоров, если вы припомните, нет ли чего-нибудь такого, что нравится дамам Пюи-Вердона в моем доме или моем поместье, кроме самого поместья?

Грум, морванский крестьянин, упрямый и решительный, вовсе, видимо, не был ошарашен и не растерялся. Он помолчал, а потом заявил:

– В прошлом месяце наши дамы приходили сюда погулять. Они побыли в саду, затем отдыхали в доме. Послушайте, папаша Жерве, ручаюсь, вы небось не заметили, на что они обратили внимание, хоть и были при этом!

– Ни на что они не обратили внимания! – живо воскликнула Манетта – она прибежала и вмешалась в разговор, боясь, как бы порыв галантности хозяина не лишил ее Мон-Ревеш какого-либо предмета старомодной роскоши. – Чего, по-вашему, могли бы тут пожелать эти дамы, такие богатые, у которых столько прекрасных вещей? А у нас тут одно старье, все давно вышло из моды.

– Именно поэтому, – сказал Тьерре. – Ну, Крез, у вас, я вижу, острый взгляд, и вы наверняка что-то знаете. Говорите!

– Господи, это так просто! В гостиной Мон-Ревеша что-то есть, сам-то я не видал, потому как держал лошадей, пока дамы были в доме; не знаю, как эта вещь зовется, но когда мы возвращались, они про нее говорили, про эту вещь, только я не припомню что, и теперь мне все хочется увидеть ее. Вот так, сударь.

– И все? – спросил Флавьен. – Твоя идея гроша ломаного не стоит, а ты преподносишь ее так, будто ей цена не меньше ста франков. В моей гостиной, вероятно, есть множество всяких вещей. Мы заходили туда, Тьерре?

– По-моему, нет, но пора раскрыть эту тайну. Пойдем, Крез...

– Креж, сударь.

– Это одно и то же. Пойдемте. Жерве, придержите-ка лошадей. Ваша идея, Крез, поднялась в цене. Теперь она стоит двадцать франков.

– Туда вы так просто не войдете, – буркнула Манетта. – Ключи у меня.

– Давайте их сюда, – приказал Флавьен.

Манетта выказала явное недовольство, но все же, выбрав в своей связке большой ключ, прошла вперед и открыла находившуюся в углу, со стороны двора, изъеденную жучком дверь, к которой вели две ступеньки.

– А ты знаешь, твой замок Мон-Ревеш в солнечную погоду выглядит совершенно прелестно, – сказал Тьерре Флавьену, останавливая его на ступеньках, пока Манетта открывала в гостиной ставни.

– Да, это строение времен Людовика Тринадцатого<sup>[19]</sup> довольно миленькое и сохранилось лучше, чем я предполагал. Вчера, когда шел дождь, все было мрачным и сырым; тут пахло насморком, все выглядело ветхим и сулило кучу мелких неудобств, которых я боюсь больше, чем паралича. Но сегодня утром я примирился с этим произведением архитектуры. Оно довольно своеобразно. Я бы с удовольствием перевез его в Турень: оно производило бы приятное впечатление где-нибудь в уголке моего парка.

– Ах ты, Креж! – воскликнул Тьерре. – С каким пренебрежением ты можешь позволить себе говорить об этой драгоценности, ты, у которого есть замки эпохи Возрождения<sup>[20]</sup> в Турени, а может быть, еще и по готическому замку в каждом уголке страны! Ты находишь только «миленьким» этот дворик, тесно окруженный несимметричными, но изящными и оригинальными фасадами? Посмотри – гладкие высокие стены, увенчанные орнаментом более строгим, чем в эпоху Возрождения, но не таким холодным, как в век короля Солнца<sup>[21]</sup>; окна не квадратные, как в шестнадцатом веке, но и не слишком удлиненные, как в конце семнадцатого! Да знаешь ли ты, что замок эпохи Людовика Тринадцатого в чистом виде – самая большая редкость во Франции со времен всеобщего уничтожения замков в юные годы Людовика Четырнадцатого<sup>[22]</sup>? Посмотри на Мон-Ревеш: ведь он славный старый фрондер, который еще принимает втихомолку, несмотря на свои небольшие пропорции, вполне феодальный вид: он не укреплен, но расположен так, что удобен если не для вооруженной обороны, то для заговорщиков; все внутри – двери, окна, лестницы, кухни, конюшни, часовня, гостиная – сходятся в общем крытом дворе и недоступно посторонним взглядам. Снаружи одни лишь непроницаемые стены, окруженные рвом и имеющие только такие отверстия, в которые можно смотреть, оставаясь невидимым снаружи. Я считаю его жемчужиной, если хочешь – черной жемчужиной: они самые красивые! Патина, которой твоя бабушка, слава богу, позволила покрывать все

вокруг; буйная растительность, уже образовавшаяся за полгода, с тех пор как сюда вступила смерть, древняя бузина, прорастающая из трещин, в каминах ржавые решетки; флюгера, которые уже не вертятся; плиты двора, ровно окаймленные яркой травой и напоминающие сероватый ковер с тонкими зелеными полосками; высокая башенка с резными перекладинами и маленькой дозорной вышкой; желтофиоли на карнизах; штокрозы, поднимающиеся к закрытым окнам, как бы тщетно моля обратить внимание на их красоту, – все это, повторяю, не просто нравится мне, а приводит меня в восторг! Если бы у меня было сто тысяч франков, я не позволил бы тебе продать это Дютертру, у которого земель и замков больше, чем ему нужно. Ах, жизнь артиста! Как она печальна и недоступна для всех наслаждений, которые он один мог бы оценить. Имея этот замок, опоясывающую его полосу лесов и лугов, я был бы самым богатым из людей, я снова стал бы мирным, счастливым, наивным и добрым! У меня не было бы больше мнимых потребностей, надуманных удовольствий... Вот рай в моем вкусе – и он принадлежит человеку, желающему от него избавиться и передать его другому, который покупает его, хоть он ему вовсе не нужен!

– Дорогой мой Тьерре, – с живостью сказал Флавьен, чье великодушное сердце встрепенулось при мысли, что он может осчастливить кого-то из себе подобных, – я хочу...

По тому, как Флавьен сжал ему локоть, Тьерре понял, что происходит в его душе и что он собирается сказать.

– Остановись, друг мой! Благодарю тебя за то, что ты подумал об этом, но, пожалуйста, не произноси ничего вслух! Вспомни, кто я такой.

Флавьен умолк. Он знал, как болезненно горд Тьерре.

– Ты не прав, – ответил он, войдя в гостиную, куда Манетта открыла доступ лучам утреннего солнца. Там уже расхаживал Крез, засунув руки за тугий пояс из буйволового кожи, посвистывая и разглядывая все вокруг полным любопытства взглядом.

Гостиная покойной канониссы, в сущности, не была предназначена для той роли, какую она играла при жизни хозяйки. То была невзрачная комната в самом защищенном от северного ветра тесном уголке двора и поэтому наиболее освещенная теми косыми лучами, которые солнце бросало между двумя частями строения, находящимися напротив окон. Это был единственный уголок, где с девяти часов утра до полудня можно было насладиться некоторым количеством света и тепла – преимущество, которого были лишены все другие фасады здания, ибо их совокупность сочетала в себе внутреннее расположение голубятни и глубину колодца. Вследствие этих преимуществ названная комната и была избрана для того, чтобы согреть хрупкое тело владелицы замка. Гостиная была обставлена мебелью в тот год, когда канонисса, горбатая и болезненная, но еще молодая женщина, умная и с приятным лицом, приехала сюда, в глубокую провинцию, чтобы в печальном и гордом одиночестве кончить здесь свои дни. Это было в 1793 году, когда она вышла из тюрьмы, ибо канонисса, как многие принадлежавшие к ее сословию, отдала дань эпохе террора<sup>[23]</sup>; полагая, как и другие ее современники, что революция через некоторое время начнется снова, она прибыла сюда искать забвения в одиночестве. Когда она уехала из Парижа, за нею следовал фургон, в котором было все ее движимое имущество, от кровати с балдахинном до рабочей шкатулки фиалкового дерева. Бережливая и опрятная, как большинство старых дев, обреченная болезнями на сидячий образ жизни, окруженная слугами старого закала, из тех, что благоговейно почитают даже собачек своей госпожи, канонисса с годами становилась все суше и меньше и наконец незаметно угасла, достигнув весьма преклонного возраста; тем не менее на пожелтевшем от времени персидском шелке, которым была обтянута гостиная, не образовалось ни единого пятнышка, из инкрустации на этажерках не выпало ни кусочка перламутра. Канонисса дряхла, не давая обветшать ни одному из окружающих ее предметов. Гостиная была почти такой же, как в тот день, когда канонисса прочла «Котидьен»<sup>[24]</sup> впервые, и как в тот день, когда она пыталась прочесть эту газету в последний раз. Ее мягкое кресло резного дерева, окрашенное в темный цвет, все еще стояло у камина;



подушка, вышитая ее слабыми руками, казалось, ждала прикосновения ее исхудавших ног; решетки для углей, увенчанные позолоченными медными колпачками, все еще ярко блестели в пустом и темном очаге; потускневшие, попорченные сыростью зеркала почти перестали давать отражение, в них виделись лишь смутные, как призраки, фигуры. Единственным живым существом в этом святилище был старый попугай, поседевший до белизны; он спал на жердочке и, разбуженный солнечным светом, хрипло закричал, как бы жалуясь Манетте на то, что его потревожили раньше времени.

## VI

– Не понравился ли случайно дамам из Пюи-Вердона этот ужасный попугай? – спросил Флавьен.

– Попугай! – воскликнула испуганная Манетта. – Попугай нашей госпожи! Старый друг, при котором она родилась, который видел, как она умерла, и, может быть, увидит, как умрут присутствующие здесь молодые люди! Эта птица, господин граф, принадлежала вашей прабабушке; судя по сохранившимся в семье бумагам, ей уже более ста лет!

– О-о, – сказал Тьерре, снимая шляпу, – это становится интересным; господин долгожитель (тут он низко поклонился попугаю), позвольте засвидетельствовать вам мое почтение. Вы, наверно, многое знаете; готов побиться об заклад, что вы могли бы спеть нам балладу на смерть маршала Морица Саксонского<sup>[25]</sup> – ведь вас, несомненно, научили и петь в дни вашей молодости.

– Увы, сударь, он знал столько, что не помнит больше ничего. Он уже давно не говорил, когда...

– Что – когда? – пораженный волнением Манетты, спросил Флавьен.

– Тише, тише, господин граф, он встряхнулся, он почистил перья, он напыжился... Сейчас он скажет их, эти единственные слова, которые затвердил и которые помнит по сей день. Ну, Жако, раз уж тебе надо сказать... «Друзья мои...»

– Друзья мои, – хриплым и жалобным голосом сказал попугай, – друзья мои, я умираю!

– Как печально, – сказал Флавьен, – и кто же научил его этим словам?

– Увы, сударь... – И глаза Манетты наполнились слезами.

– Послушай, Крез, – сказал Тьерре, не слишком интересовавшийся переживаниями Манетты, – стало быть, дамам понравился попугай? Это в самом деле интересно: столетняя птица – настоящий памятник.

– Дамы говорили о птицах, о множестве птиц, – ответил Крез.

Манетта рассердилась:

– Других птиц здесь нет, и господин граф его не отдаст! Послушайте, послушайте, что он говорит, бедняжка!

– Я умираю! Я умираю! – повторил попугай с каким-то ужасающим хрипом.

– Объясните же мне, наконец, этот зловещий возглас! – настаивал Флавьен.

– Вы не догадались, господин граф?.. Так вот, в последние три дня своей жизни ваша двоюродная бабушка, парализованная, в агонии, больше ничего произнести не могла. Она уже не вставала с кресла. Ее нельзя было ни поднять, ни уложить – боялись, что, дотронувшись до нее, могут ее убить, настолько она была слаба. Жако привык, что она его ласкала; удивившись, что она перестала подходить к его жердочке, он попытался говорить, хотел обратить на себя внимание и не мог, он не помнил уже ни одного слова. А так как он все время слышал, как его госпожа жалобно повторяет: «Друзья мои, я умираю!» – он решил, что она учит его этим словам, и, добиваясь ласки и угощения, к которым привык, он стал твердить их, словно эхо. Госпожа испугалась. Его отнесли в другую комнату, но он не забыл этих слов: вот уже полгода он их говорит, как только увидит людей. Неужели вы находите, господин граф, что молодые дамы из Пюи-Вердона найдут это забавным и не велят свернуть шею бедной птице, как только она заговорит перед ними?

Флавьена опечалил этот рассказ, хотя он видел свою двоюродную бабушку всего лишь один раз в жизни, когда она на несколько дней приезжала в Париж по поводу одного своего судебного процесса.

– Вы правы, Манетта, он принадлежит к семейным реликвиям, и я дарю вам попугая. Позаботьтесь о нем за мой счет.

– Не надо, сударь, госпожа канонисса все предусмотрела в своем завещании: там есть рента для меня и для него.

– Верно, я совсем забыл; да, да, моя славная Манетта, ваша с Жерве старость обеспечена; Жако тоже уберезен от ударов судьбы... Тьерре, приветствуй еще раз долгожителя: он рантье, ему причитается пенсия в двадцать пять франков.

– Он богаче меня, – сказал Тьерре. – Ты уверен, что это тот же самый попугай? – тихо добавил он. – Поскольку он славится долголетием, то, ручаясь, его заставят жить в семействе Жерве еще два или три века, заменяя такими же особями в двух или трех поколениях, и все для того, чтобы сохранить ренту.

– Неважно. Я вижу, Манетта, вы любите этот дом. Я поставлю такое условие в своем контракте о продаже: вместе с Жерве и Жако вы проведете здесь остаток своих дней.

– Да благословит вас Бог, господин граф! – воскликнула Манетта, кланяясь Флавьену и целуя Жако.

Когда две старые головы, женская и птичья, оказались рядом, они удивили Тьерре своим сходством; зрелище было комичное и в то же время грустное, – это вызвало у него улыбку и вместе с тем слегка его растрогало. Впрочем, он быстро пришел в себя и напомнил Флавьену, зачем они пришли в гостиную.

– Обстановка здесь так полна и так хорошо сохранилась, что представляет собой редкий образец одностильности. Тут все относится к эпохе Людовика Шестнадцатого<sup>[26]</sup> – как главные предметы, так и более мелкие, начиная с обоев, деревянной резьбы и ковров и кончая рабочей корзинкой, украшенной продернутой лентой и миниатюрой, изображающей супругу дофина, на крышке из розового дерева. Право, эта гостиная в своем роде так же ценна и ее так же интересно осмотреть, как и весь замок. Я вижу здесь массу чудесных мелочей, которые могли соблазнить молодых модниц. Но надо поторопиться, если ты не хочешь, чтобы твой утренний букет прибыл в полдень – совершенно неподобающее время по правилам ухаживания!

– Поди-ка сюда, Крез, – прикоснувшись ручкой своего хлыста к уху грума, сказал Флавьен. – Ты говорил о птицах? Они есть на этой ширме. Речь шла о ней?

– Нет, господин граф, дамы говорили так: «Птички, хорошенькие птички, которые на доске!»

Тьерре обвел взглядом комнату:

– Здесь нет ни клетки, ни птичек!

– И никогда не было, – добавила Манетта. – Госпожа любила и терпела только попугая.

– Птицы были живые или нарисованные? – спросил у Креза Тьерре.

– Вот уж не знаю, – ответил тот, почесав за ухом. – Пожалуй, живые, потому – говорили как будто о звуке, который слышен.

– А-а, дело проясняется, ваши акции поднимаются, господин Крез; вы очень сообразительны и прислушиваетесь ко всему, что может дойти до ваших длинных ушей. Знаешь что, – обратился Тьерре к Флавьену, – он, наверно, имеет в виду эти часы с репетицией – тут есть птицы, заштрихованные зеленым золотом, на фоне желтого золотого корпуса – прелестная работа!

Крез задумался, потом ответил довольно толково:

– Нет, сударь, все ж таки не то. Мадемуазель Эвелина сказала: «Я бы поставила это в гостиную, потому что у меня не хватит места», а мне кажется, сударь, комната барышни достаточно большая...

– Чтобы в ней поместились часы величиной с луковицу? Вы очень логично рассуждаете, господин Крез, и каждое ваше слово проливает свет на наши предположения. Вы сообщили нам, что искомый предмет производит звуки; это ни карманные часы, ни стенные; но это могут быть часы с кукушкой или вертел со звонком...

– Или музыкальный инструмент! – сказал Флавьен.

– Горячо, господин граф, – заметила наконец Манетта, отлично знавшая, о чем идет речь, но надеявшаяся, что никто не догадается, потому что поиски показались ей сначала святотатством. Однако надежда на то, что она сможет остаться в замке, смягчила ее, и теперь она желала услужить молодому хозяину.

– Ну еще бы, – воскликнул Крез, – если вы были при том, как смотрели на эту вещь, угадать проще простого, матушка Манетта. Но все же вы крадете у меня сотню франков, без меня вы бы ничего не сказали.

– Он прав, – добавил Флавьен. – Помолчите, Манетта. Идет, Крез, ищи: идея принадлежит тебе.

Крез начал шарить повсюду; в нем заговорили любопытство слуги и осторожность недоверчивого крестьянина. Наконец он обнаружил в самом темном углу гостиной загороженный креслами большой продолговатый предмет, покрытый зеленым холстом. Он легонько приподнял холст, под которым оказалось шерстяное покрывало.

– Это кровать!

И он опустил покрывало. Но, подумав, снова приподнял его, и взорам всех открылась гладкая поверхность, с виду черного дерева, окаймленная широкой золотой полосой. Затем он нащупал рукой ключ.

– Это сундук. Можно открыть?

Флавьен кивнул. Крез откинул покрывало, повернул ключ и попытался поднять крышку. Она не поддавалась. Тогда, как кот, который вертится вокруг сыра, пытаясь догадаться, с какой стороны его легче надкусить, Крез стал наклоняться то вправо, то влево; потом, обнаружив зарубку, вытащил планку из паза; крышка поднялась, и перед ним оказалась клавиатура, окруженная стенками цвета прекрасной киновари, каким бывает самый лучший китайский лак; их оттеняла позолота на дереве.

– Вот оно! Это звонаря, вроде тех, что есть в замке Пюи-Вердон: только большие трещотки, которые там белые, тут черные, а маленькие, вместо того чтобы быть черными, здесь белые... Да и вообще тут две звонарни, – добавил Крез, указывая на двойную клавиатуру, – и играет! – продолжал он, кладя толстые пальцы с плоскими ногтями на клавиши черного дерева.

– О, да это клавесин, клавесин в хорошем состоянии – вещь по нынешним временам редкая, – сказал Тьерре, пробуя клавиатуру. – Предмет занятный и ценный, в самом деле восхитительный подарок для людей со вкусом... Но разве это то, что мы ищем? Еще ничего не доказано. Молчите, Манетта... Господин Крез говорил о доске, о птицах, и надо, чтобы он их нашел, если хочет получить сказочную сумму в пять луидоров.

– Да уж как-нибудь найдем, – сказал Крез, на чьем круглом лице монголоидного типа появилось хитрое выражение, как только речь зашла о золоте.

Он так вертелся, так искал, что сумел поднять прямоугольную крышку клавесина и установить ее на красной палке, полюбовался низом крышки, выкрашенным киноварью, лакированным и позолоченным, как и весь корпус клавиатуры, и наконец открыл очарованному взгляду Тьерре внутренность одного из самых кокетливых и роскошных инструментов восемнадцатого века: струны из желтой меди, тонкие, как волосы, резонирующие на перистых кончиках, наивный механизм столетнего инструмента, чей голос был в чем-то схож с голосом попугая, и, наконец, деку, прекрасный образец работы мастеров дореволюционного времени – сосновую планку, тонкую, как лист бумаги, гладкую, как атлас, и густо покрытую росписью ослепительных пурпурных и лазоревых оттенков. Причудливые арабески обрамляли круглое отверстие, через которое звук отражался и уходил в нижний ящик; зеленая листва грациозно обвивалась вокруг венка из золотых звезд на кобальтовом фоне; и, чтобы завершить торжество Креза, под позолоченными нитями металлических струн носились и порхали дивные фантастические птицы ярких окрасок с серебряными лапками и клювом; они клевали великолепные цветы и как бы добавляли свое щебетанье к гармониям, звучащим на клавиатуре.

– Слушай, это просто ювелирное изделие, редкость, не имеющая цены, – сказал Тьерре Флавьену. – В наш утилитарный, реалистический век улучшили звучность, достигли прочности; но в те счастливые времена, к которым восходит этот инструмент, наслаждения слуха дополнялись воображением, и очарованным глазам представляли концерты небесных птиц, певших скорее в душе, нежели в барабанной перепонке. Боже мой, но разве человеческий голос был менее прекрасен и нуждался в сопровождении этих слишком тонких звуков, а музыкальная мысль великих композиторов была менее мощной и менее возвышенной, не имея в своем распоряжении нынешней техники и материалов?

Флавьен, не без интереса слушавший рассуждения Тьерре, вручил в это время награду Крезу и отдал распоряжения Манетте. Через два часа он уже был в городе, где привел в смятение трезвый ум нотариуса, требуя от него своеобразной редакции документа, который он хотел поскорее отправить Дютертру в виде учтивой шутки; а Тьерре на одной из прекраснейших лошадей, какие были в конюшне Пюи-Вердона, шагом сопровождал тележку – на ней двигался к Пюи-Вердону влекомый бесстрастным Сезаром и заботливо укутанный перинами клавесин.

Тьерре прибыл к месту назначения в десять часов утра, мечтая не встретить никого из семейства Дютертр до того, как он сможет установить клавесин в гостиной. Еще накануне он был приглашен Дютертром к завтраку, и, таким образом, все приличия были соблюдены. Дютертр пошел с женой прогуляться, Эвелина и Натали, возмещая ущерб, который долгое ночное бдение нанесло их отдыху, еще спали. Давно вставшая Малютка занималась своими птицами. Тьерре оказался во дворе наедине с серьезным и слегка удивленным Амедеем.

Выслушав объяснения Тьерре, Амедей, гибкий и сильный, несмотря на кажущуюся хрупкость, сбросил сюртук, надел блузу, вскочил на тележку, убрал перины и, не полагаясь на грубые руки слуг, вместе с Тьерре перенес в гостиную объемистый, но легкий клавесин, даже не поцарапав его чудесно сохранившейся лакированной поверхности, которую Тьерре тщательно обернул старыми номерами «Котидьен» – единственной газеты, которую выписывала канонисса.

Занимаясь вместе с Амедеем этой нетрудной работой, помогая ему смахнуть пылинки и нитки, чтобы клавесин при первом же взгляде явился в полном блеске, и, наконец, последовав за Амедеем в его комнату, чтобы почиститься и вымыть руки, Тьерре, как всегда придиричивый и подозрительный, не преминул поставить перед собой задачу: «Вот весьма красивый малый. Глаза у него – нежное пламя, зубы – жемчуг, мускулы – сталь, он изящно сложен, его манеры и внешний вид свидетельствуют о безупречном воспитании. Он немногословен, но его физиономия и произношение говорят о том, что он человек думающий и утонченный. Жерве рассказывает, что его воспитали здесь как члена семьи, что господин Дютертр любит его как сына и полностью ему доверяет и что он посвятил себя изучению сельского хозяйства и управляет всем обширным хозяйством дядюшки; следовательно, это приятный молодой человек, которого можно отнести – редкий случай! – к разряду полезных людей. Любят ли женщины полезных людей? Нет, но они любят приятных людей! Таким образом, Амедей должен быть любим здесь одной или несколькими женщинами, и любим соразмерно той степени приятности, которая преобладает в нем над полезностью. Какова же эта степень, если она существует?»

Беседуя с Амедеем на общие темы, внимательно и проницательно наблюдая его движения и смену выражений на его лице, он нашел его таким спокойным, таким простым, таким уравновешенным, что не смог сделать никаких выводов.

«Если б он был страстным, а на это указывает его меланхоличность, равновесие было бы нарушено; человек, которого должны любить, взял бы в нем верх над человеком, которого надо ценить. Но его меланхоличность может объясняться всего лишь его темпераментом».

Тьерре огляделся – четырехугольная башня, где обитал Амедей, была, как и соответствовало столь богатому дому, обставлена и украшена настолько пышно, насколько это было возможно для скромного и трудолюбивого молодого человека. И во всем угадывалось какое-то

усилие над собой, желание отказаться от наслаждения роскошью, ему не принадлежащей. У Амедее не было ничего. Его отцу не повезло в делах. Он умер, оставив одни долги. Дютертр все оплатил; он вырастил сироту заботливо, нежно, но приучая его к серьезной цели – к труду. Таким образом, Амедей вносил в бюджет семьи только свой труд, умный, ревностный, преданный, но который он сам считал лишь погашением священного долга, взамен чего принимал только необходимое. Это необходимое, обусловленное привычкой к роскоши, на уровне которой надо было держаться, для Тьерре было бы излишеством; очень стесненный в средствах, но желавший вести светский образ жизни, он еще не мог черпать в своем таланте нужных для этого ресурсов. Сперва он хотел поздравить Амедее с видимым благополучием, но тут же понял, что эти поздравления были бы тому неприятны.

По какому же признаку он догадался обо всем? По куску грубого пемрового мыла, которое молодой человек предложил ему, чтобы вымыть руки. Мыло рабочего на белой мраморной доске умывальника, уставленной принадлежностями из саксонского фарфора! Для внимательного наблюдателя мелочи открывают многое. Этот незначительный признак объяснял все. Мыло входило в ежедневные личные расходы Амедее. Пемзовое мыло для таких красивых рук! В этом, по мнению Тьерре, сказывалась бережливость, отдававшая героической самоотверженностью. Ведь за руками надо ухаживать, когда они красивы, когда вам двадцать пять лет и когда вы живете в доме, где есть четыре пары прекрасных глаз, которые могут их оценить.

«Как все это сложно, – думал Тьерре. – Добродетельный человек торжествует здесь над человеком приятным и полезным. А женщины любят добродетельных людей? Да, если страсть берет верх над этими тремя свойствами. Страстный человек – естественный венец творенья».

– Вы собираете чешуекрылых? – смеясь, спросил он, бросив взгляд на аккуратную стопку коробок, на которых виднелись надписи: *argynnis*<sup>2</sup>, *polyommatus*<sup>3</sup> и т. д.

– Я люблю бабочек, – смущенно улыбаясь, ответил Амедей, как уличенный в провинности ребенок.

– Вы совершенно правы! Я бы тоже непременно увлекся ими, если бы жил в деревне! И потом, это один из способов ухаживать за женщинами.

– Вы находите? – с холодной улыбкой спросил Амедей.

– Да, в деревне женщины – которые всегда артистичны по натуре – обожают разнообразие, красоты и восхитительные причуды природы. Готов побиться об заклад, что тут все дамы любят бабочек и просят их у вас.

– Нет, не все, – небрежно ответил Амедей.

«Мы замыкаемся в непроницаемость, – подумал Тьерре, – у нас есть сердечная тайна. Через час я буду знать, какая из дам в семействе Дютертр любит бабочек».

– Амедей! Амедей! Сачок! Скорее! – послышался с лужайки женский голос, по-мальчишески громкий. – Чудесный махаон, вон там, на жасмине у твоего окна!

Тьерре подбежал к окну и увидел на лужайке Малютку. Завидев его, она улыбнулась, ничуть не смутившись, и сказала открыто и без всякой робости, как истый ребенок:

– А-а! Здравствуй, сударь, как поживаете?

Тьерре поздоровался с ней почти отечески.

– Скажите Амедее, – продолжала девушка, – что бабочки скоро будут садиться ему на нос, если он будет охотиться за ними с такой медлительностью.

Амедей по-прежнему оставался спокойным.

«Ага! Бабочек любят две женщины!» – заключил про себя Тьерре.

<sup>2</sup> Перламутровка (лат.).

<sup>3</sup> Голубянка (лат.).

## VII

Колокол возвестил завтрак.

– Это первый удар, – сказал Амедей. – У нас есть еще полчаса до второго. Хотите пройти по саду?

– С удовольствием.

«Если между первым и вторым ударом колокола я не угадаю твоего секрета, – подумал Тьерре, – моей способности судить о людях грош цена!»

– Тем более, – добавил он, обращаясь к Амедею, – что мне хотелось бы обзавестись одной вещью, необходимой для успешного выполнения моей миссии.

– Что же вам нужно?

– Букет, хотя бы из полевых цветов; я поставлю его на клавесин, который мне поручено преподнести. Любезность довольно банальная, не так ли? Но здесь это даже не любезность. Это простая надпись, ее надо прикрепить к подарку, как бы передавая от имени моего друга, господина де Сож: «Я продал вам свое имя, но оставил себе эту безделицу, чтобы иметь возможность преподнести ее вам».

– Отлично. Пойдемте к главному садовнику, пусть он сделает нам букет.

– Как? Букеты делает вам садовник, когда у вас есть счастливая возможность делать их лично?

– Но букет, равнозначный надписи, уже не букет.

– Почему знать! – сказал Тьерре, наблюдая за молодым человеком. – Может быть, у меня есть тайное предписание? Под этой надписью, доступной для всех, друг, послом которого я являюсь, возможно, хочет скрыть выражение своего почтительного восхищения. Уверю вас, нет ничего интереснее и забавнее, чем составить букет для женщины, даже если действуешь по доверенности!

– Для женщины? – переспросил Амедей, по-прежнему спокойный или прекрасно владеющий собой. – Вы мне сказали, что подарок предназначен дамам Пюи-Вердона, и я понял, что это подношение, как и букет, относится ко всем. У нас они все играют на рояле.

– Но кто играет лучше всех?

– Несомненно, Эвелина.

– Флавьен, по-видимому, ничего об этом не знает, – продолжал Тьерре, наблюдая за Амедеем, – и должен признаться, что мне неизвестно, какую именно из дам он имел в виду.

Амедей отвечал довольно сухо:

– Полагаю, что он думал не об одной, а обо всех.

– Вы правы, и вы преподали мне урок приличия. Разумеется, Флавьен не может себе позволить преподнести подарок какой-то одной из барышень.

«Я сказал глупость, – подумал Тьерре, – но сделал это умышленно. Я вызвал ревность. Остается узнать, ревнует ли он всех или только одну из них».

– Но, – продолжал он вслух, – это выражение почтительности может быть без всякого неудобства адресовано исключительно госпоже Дютертр.

– Да, – все так же спокойно, но с оттенком пренебрежения произнес Амедей, – это магарыч, предложенный господином графом де Сож супруге его покупателя.

– О, как вы прозаичны! Назвать такое изящное проявление внимания грубым и неблагозвучным словом «магарыч»! Все равно что видеть, как госпожа Дютертр подносит к своим губам скверное красное вино в фаянсовой кружке с отбитой ручкой.

Тьерре заметил, что лицо Амедея не дрогнуло. Но ему показалось, что при мысли о губах Олимпии губы Амедея стали одного цвета с его обычно бледным лицом. Однако голос его оставался ровным.

– Если мы будем продолжать беседу, мы не сделаем букета. Вот вам мои садовые ножницы, начинайте.

– Если б я был уверен, – безжалостно продолжал Тьерре, – что букет и клавесин предназначаются именно госпоже Дютертр, я бы спросил вас, какие цветы она предпочитает.

– А я бы ответил вам, что ничего об этом не знаю. Мне кажется, тетушка любит все цветы.

Это слово «тетушка» было произнесено так по-домашнему, так целомудренно и почти-тельно, что Тьерре отбросил свое подозрение. «Тетушек не любят, – подумал он, – даже если они всего лишь жены наших дядюшек. Это нечто вроде кровосмесительства. Но можно любить кузин, дочерей наших дядюшек... и можно жениться на одной или другой, с благословения папы римского или без оно-го. Да, но мы еще не назвали третьей кузины».

– Клянусь вам честью, – продолжал Тьерре вслух, – если у моего друга есть какие-то особые намерения, меня он в них не посвящал. Я болтаю просто так, чтобы болтать, как птицы поют, чтобы петь о чистом небе и зеленых деревьях. Следовательно, мне надо положиться на ваше мнение, как более разумное. Букет должен быть общим, и мы обязаны доказать это, взяв все цветы, которые нравятся всем прекрасным хозяйкам Пюи-Вердона.

«Какой болтливый господин», – подумал Амедей.

– Поэтому возьмем гвоздики для госпожи Дютертр, она должна любить гвоздики.

– Почему?

– Так уж мне кажется! Махровые розочки для мадемуазель Каролины; всего понемножку для мадемуазель Эвелины; а что нам оставить для мадемуазель Натали?

Кончик палочки, которую небрежно держал Амедей, коснулся то ли преднамеренно, то ли случайно крапивы, пробивавшейся в траве у его ног.

«Ого! – подумал Тьерре. – Эту он ненавидит!»

Раздался второй удар колокола. Амедей, который скорее терпел, чем слушал Тьерре, вздрогнул; казалось, ему хотелось поскорее вернуться в дом. Это могло быть естественной реакцией чувствительных нервов, а могло быть и так, что он просто проголодался, но Тьерре решил приписать себе победу, поскольку ему удалось хоть что-то разузнать.

«В этом доме есть звуки, от которых он вздрагивает, и кто-то, неудержимо влекущий его к себе. Значит, он более страстен, чем полезен и добродетелен. Он любит Малютку как сестру, почитает Олимпию, не терпит Натали... Стало быть, он любит Эвелину. Эвелина должна любить бабочек».

Это обстоятельство, вернее, это предположение, обоснованное или необоснованное, определило чувства и мысли Тьерре на весь остаток дня. В Париже он был в течение нескольких дней влюблен в госпожу Дютертр, влюблен без ясно выраженного желания, без сердечного смятения. Удар, нанесенный ему вчера, когда он вообразил ее бабушкой, шутки Флавьена, его собственные шутки лишили ее блистательный образ поэтического ореола; кроме того, Дютертр в семейном кругу показался ему прекрасным и достойным уважения. Его радушие было таким сердечным! Он внушал такое почтение, такую благодарность местным жителям, они так тепло говорили о нем! Тьерре только притворялся развращенным, из бравады, из аффектации. Сердце его было молодо, полно прямо-ты, инстинктивного чувства общественного долга. Поэтому он не стал обращать внимания на жертву, которую в шутку наметил себе, когда покидал Париж, и, возбужденный случайно возникшей у него мыслью о борьбе, он решил влюбиться в Эвелину не позднее захода солнца, хотя бы ради того, чтобы разозлить Амедея.

Человек гораздо менее щепетилен в отношении дочери друга, чем в отношении его жены, потому что на ней можно жениться, если удастся соблазнить или как-то взволновать ее; а когда она столь же богата, сколь красива, в этой перспективе нет ничего устрашающего. Однако если б Тьерре хорошенько поразмыслил в то утро, он воздержался бы и от этого решения, ибо мысль о том, чтобы разбогатеть через женитьбу, оскорбляла его понятия о достоинстве и свободе человека искусства.



Но Жюль Тьерре уже был не тем человеком, который покинул Париж три дня назад. Сельская природа, свежий воздух, сентябрьское солнце, старые замки, прогулки по густым лесам, прекрасные сады, свежие цветы и, главное, ощущаемое в самом воздухе присутствие молодых, красивых, очаровательных и богатых женщин, которые в деревне куда более милы, чем в Париже – то ли из гостеприимства, то ли от безделья, – все это не могло не опьянить его и не вырвать его мысли из жесткого круга, в который их замкнули мода на скептицизм и неодолимое стремление к самостоятельности суждений.

Успеху Эвелины у Тьерре роковым образом благоприятствовало поведение, которое, без всякой задней мысли, усвоила себе госпожа Дютертр. Обычно она, как только появлялся новый человек, особенно молодой, нарочно уходила в тень, чтобы дать возможность блеснуть дочерям мужа. В Париже, в свете, где она была как бы наедине со страстно влюбленным в нее мужем, она становилась самой собой, и было видно, насколько она умна. Но долг был для нее превыше всего, и она почти никогда не покидала деревни и своей семьи. Потому в обычные дни она не блистала. Тьерре видел ее лишь в один из тех редких промежутков, когда она не боялась возбудить ревность и соперничество. Встретив теперь с ее стороны такую сдержанность, необщительность, скованность в словах и жестах, он нашел ее напыщенной, хоть и признал, что она красивее своих приемных дочерей. «Я не ошибся в отношении ее молодости и красоты, – подумал он, – но мое воображение прибавило ей ума и грации. Она – равнодушная и тщеславная женщина, которая любит себя и не считает нужным проявлять внимание к другим».

Никто и не собирался заходить в гостиную перед тем, как сесть за стол, – завтрак был подан, Дютертр проголодался. Тьерре удалось незаметно пройти туда и поставить букет на клавесин.

Олимпия и Малютка обе были в розовом. Мачехе пришлось уступить ребенку, хотевшему отпраздновать таким образом приезд любимого отца; к тому же страстью Малютки было подражать нарядам Олимпии так же тщательно, как ее сестры старались отойти от этого. Вот и теперь Натали явилась предпоследней в небесно-голубом наряде; она была необычайно хороша собой и столь же меланхолична. Последней пришла Эвелина, в платье из фуляра, затканном цветами и украшенном переливающимися лентами. У нее изобилие и фантазия не исключали вкуса; она была ослепительно нарядна, и в то же время казалось, что она нисколько об этом не заботилась.

Ее туалет поразил Тьерре. «Всегда ли она такова, или я играю здесь какую-то роль?» – подумал он. Получилось так, что она заняла оставшееся рядом с ним пустое место; через каких-нибудь пять минут он нашел способ показать ей своими замечаниями, как он ценит ее умение одеваться и какое удовольствие получает от ее утонченности. За столом было много и других гостей, явившихся засвидетельствовать свое почтение Дютертру по случаю его приезда. Было довольно шумно; взад и вперед сновали слуги, а просторная зала, обшитая деревянными панелями, давала сильный резонанс; хозяин заражал всех своим весельем, а Малютке вообще не сиделось на месте. Благодаря всему этому Тьерре вскоре удалось завязать со своей соседкой весьма оживленный разговор.

Сначала она с насмешкой приняла комплименты своему наряду:

– Как, сударь, вы обращаете внимание на наши тряпки? А мне говорили, что вы человек серьезный.

– Кто меня так оклеветал?

– Но вы согласны, что как только начинаешь заниматься нарядами, теряешь всякое право на серьезность!

– Ничуть! Серьезность серьезности рознь, и о нарядах можно сказать то же самое. Видеть в предмете туалета лишь его стоимость и великолепие – мелко; но уметь выбрать ткань, сочетание цветов, гармонию – искусство, и я объявляю вам, что вы настоящая художница.

– Ваше одобрение должно мне льстить; романисты обязаны разбираться в этом, чтобы создавать типы. Ну а какому характеру среди ваших персонажей вы приписали бы мой наряд? Какую душу разоблачили бы мои тряпки: причудливую или глубокую, мужественную или робкую?

– Пожалуй, в ней будет всего понемногу, пикантные контрасты и роковые загадки, за разгадку которых можно было бы отдать жизнь.

– Молчи! – шепнула Эвелина обратившейся к ней Натали. – Я слушаю признание в любви. Объяснитесь получше, – повернулась она к Тьерре, – и не заводите со мной слишком литературного разговора, я девушка деревенская. Скажите просто, что я такое, о чем я думаю.

– До этого дня вы ничего не любили.

– Неправда, я любила свою лошадь.

– Ага, вы согласны – только свою лошадь?

– О, моих родителей, мою семью – это естественно...

– А больше всего вы любите самое себя?

– Но вы, кажется, оскорбляете меня, а я предпочитаю комплименты, предупреждаю вас.

– Я вам их делать не буду. У вас может быть ужасная душа, отвратительный характер!

– Ты называешь это признанием в любви? – спросила Эвелину внимательно слушавшая их разговор Натали.

Эвелина расхохоталась и посмотрела Тьерре прямо в глаза.

– А я вас нахожу очаровательным; пожалуйста, продолжайте.

– Это вас забавляет? Так и должно быть. Вы знаете, что можете заставить людей страдать, и настрадаются они из-за вас немало.

– Кто же именно? Люди, достаточно безумные, чтобы полюбить меня?

– Или сказать вам об этом, – многозначительно улыбнувшись, ответил Тьерре.

– Признайся, улыбка у него хороша, – шепнула Эвелина Натали, в то время как Тьерре отвечал своему соседу слева.

– Ну вот ты и влюбилась! В глупца или в безнравственного человека! – пожала плечами Натали.

– Безнравственного? Если он влюбился в меня с первого взгляда, он относится к первой категории; если он влюбился в мою мачеху и пользуется мной как ширмой, он относится ко второй категории. Что ж, увидим!

К концу завтрака приехал Флавьен и, узнав, что все еще сидят за столом, прошел в гостиную через сад, полюбовался тем, как удачно Тьерре сумел поместить его подношение, и тихонько велел Крезу отнести подписанную им доверенность в рабочий кабинет Дютертра. Потом он пошел осматривать сады, не желая присутствовать, словно провинциал, при своем торжестве.

Торжество было полным. С одной стороны, очаровательный клавесин, на который так зарилась Эвелина, но оцененный по достоинству и Олимпией, с другой – сердечная и лестная для хозяина дома шутка с подписанной и скрепленной печатью доверенностью, которую секретарь Дютертра принес ему в гостиную. Молодому дворянину удалось показать себя в самом выгодном свете; впечатление еще усилилось, когда Крез, призванный по настоянию Тьерре, рассказал по-своему, как господин де Сож взялся угадать, что могло понравиться дамам из Пюи-Вердона.

## VIII

Крез был сильно избалован, как все грумы, имеющие дело с добрыми людьми. Может быть, Эвелина чересчур принизила его, низведя до роли шута. Но он гордился этой ролью и со страшной дерзостью считал остроумным весь вздор, который он нес и который она заставляла его повторять. Поэтому он стал охотно распространяться о должности отгадчика, занятой им в Мон-Ревеше, не забыв упомянуть о полученном вознаграждении.

– О, ведь он человек из самого высшего общества, – иронически проронила о Флавьене Натали.

Олимпия попыталась затушевать дерзость, сказанную при Тьерре:

– Он – очень любезный человек. В любом обществе желание сделать людям приятное является добрым качеством.

– Это хороший сосед, вот такими я их люблю! – воскликнул Дютертр. – Доверие, иными словами – честь и прямоту.

– Это очень милый господин, – сказала Малютка, – он понимает папу.

– Вот каковы мощь и обаяние богатства! – шепнул Тьерре Эвелине. – Если они и не вводят в соблазн, то по крайней мере очаровывают!

– Вы богаты, сударь? – спросила Эвелина с такой непринужденностью, что совсем смутила Тьерре.

– У меня ничего нет и, вероятно, никогда не будет, мадемуазель, – ответил он поспешно и высокомерно.

– Ну что ж, тем лучше! – необдуманно воскликнула Эвелина.

– Не будете ли вы так любезны объяснить мне, что значат ваши слова?

– Ах, вы же знаете, что я живая загадка, вы сами это сказали!

– Должен ли я попытаться разгадать сфинкса?

– Напрасно вы воображаете, что это вам быстро удастся!

Подали кофе и сигары. Госпожа Дютертр зажгла пахитоску и сделала вид, что курит, подавая пример гостям. Все мужчины воспользовались разрешением, и в то время как Олимпия украдкой покашливала, выпуская три колечка дыма, как этого требовали правила гостеприимства, Эвелина взяла толстую сигару и стала курить, как мальчишка, выпуская дым прямо в лицо Тьерре и почти не скрывая, что она пробует на нем воздействие своей эксцентричности. Он был неприятно удивлен и не постеснялся сказать ей, что находит это ужасным. Она тут же бросила сигару, позабавилась наивным смущением, охватившим его при этой неожиданной уступке, и пошла за другой сигарой, говоря:

– Вы правы, эта сигара была ужасной. Разве вы не курите?

– Конечно, курю, – сказал он и прикурил от той сигары, которую закурила Эвелина и фамиллярно протянула ему. – Я только и делаю, что курю.

– Ну и напрасно!

– Почему?

– Ах, если я буду разяснять вам все свои слова, когда же вы начнете угадывать мои мысли?

В это время господин Дютертр, проходя мимо Эвелины, улыбаясь взял у нее сигару, выбросил ее прочь, несмотря на протесты дочери, и оставил Эвелину продолжать беседу с Тьерре.

В то время как она невинно кокетничала с Тьерре, хотя это кокетство было для него довольно опасным, Натали, обидевшись, что никто не уделял ей особенного внимания, сошла с крыльца, где все курили и болтали под защитой широкого навеса, сплетенного из пальмовых

листьев, и углубилась в зеленую чашу деревьев. Погруженная в грустные размышления, она незаметно для себя вошла в английский сад и вдруг очутилась лицом к лицу с Флавьеном.

Но это столкновение не смутило ни того, ни другую. Шедшая медленным и размеренным шагом Натали не разбудила Флавьена, который, усевшись на скамейку из дерна и прислонившись головой к стволу платана, заснул сном праведника.

Де Сожу случалось не раз испытывать внезапную потребность в полном отдыхе, как многим деятельным и здоровым людям; они удовлетворяют ее там, где находятся в данную минуту, если только не бывают вынуждены побороть ее усилием воли. Флавьен встал очень рано, проехал шесть или семь лье рысью на резвой лошади, позавтракал наспех, проезжая через Мон-Ревеш, и поехал дальше, забыв об отдыхе; теперь он устал и, попав в свежий и уединенный уголок, уснул совершенно непреднамеренно, как король или как крестьянин.

Натали была шокирована такой грубостью натуры и, легонько повернувшись на каблучках, с презрением удалилась, ступая по смягчавшему звуки мху; но через несколько шагов ее остановила следующая мысль: «Я обманула вчера вечером Эвелину, заставив ее поверить, будто этот юноша уже влюблен в Олимпию. Он ее не знает, его мало интересуют и она и мы. Что касается нас – его сердце свободно, оно – *tabula rasa*<sup>4[27]</sup>. Он пришел к нам с целью продать свое поместье; это доказывает, что у него нет никакого желания сохранить временное пристанище рядом с нами, никакого намерения жениться на одной из нас. Следовательно, я должна обращаться с ним, как с человеком, не имеющим значения, потому что он не завербовался в полк претендентов на мое приданое. Он богат и, таким образом, имеет право на мое уважение. Я презираю бедняков, превозносящих смешные стороны и странности богатой женщины. Он не стал жертвой победоносных чар Олимпии и спит, вместо того чтобы устремиться навстречу ожидающим его благодарностям. Его любезность с клавесином – это любезность человека, приносящего кулечек с конфетами маленьким девочкам. Его доверие к моему отцу – величественное пренебрежение патриция, не желающего оставаться в долгу перед разночинцем. Нет, право, у господина де Сож есть хорошие стороны, и именно по той причине, что я ему не нравлюсь, я бы, пожалуй, хотела ему понравиться».

Она подошла поближе и, встав позади скамейки, так, чтобы видеть спящего в профиль и иметь возможность исчезнуть в кустах, как только он пошевелится, стала внимательно разглядывать его лицо.

Флавьен был красив той надменной и мужественной красотой, которая льстит самолюбию повелительниц: высокий, с широкими плечами и узкими бедрами, с тонкими чертами лица, со светлыми и густыми волосами; руки у него были большие, но белые и прекрасной формы; словом, в нем воплотились сила и гордость древних рыцарей.

«Он слишком хорош собой и поэтому должен быть глуповат. Но у подобных созданий незначительность скрыта под блестящим лаком хороших манер, и женщинам не приходится из-за них краснеть. Людей любят не такими, какие они есть в действительности, а такими, какими они нам кажутся. Королева Елизавета возвела бы этого знатного дворянина в ранг своих приближенных, а что бы ни говорила Эвелина, я королева, я Елизавета, я англичанка по натуре больше, чем они думают.

Как мне понравиться этому рыцарю? Как удержать его здесь, хотя бы на время каникул, хотя бы для того, чтобы не остаться со всякими мелкими претендентами, в то время как Эвелина уже остановила свой выбор на единственном умном человеке? По-своему я так же хороша, как господин Флавьен, и еще более аристократична, несмотря на мое буржуазное происхождение. Там, где он сумеет только приказывать, я сумею царить. У меня есть талант, это безошибочно действует на тех, у кого его нет. Да, но я не умею кокетничать, а в наше время молодая девушка должна делать первые шаги, дабы ее заметил мужчина, не претендующий

<sup>4</sup> Чистая доска (лат.).

на приданое. Но уверена ли я, что не умею кокетничать? Я хочу, чтобы мной восхищались, а кокетство – это ум, поставленный на службу желанию нравиться. Ум! У Эвелины есть ум, но я ведь не просто умна, а гениальна; неужели я не сумею заставить свой гений послужить моему самолюбию?»

Она еще долго раздумывала. Мне кажется, что во время ее гордых и серьезных размышлений Флавьен – да простит ему бог! – немного всхрипнул. Натали это не смутило; ей даже невольно пришло в голову, что, имея мужа, который храпит, можно легко получить возможность проводить ночи у себя, занимаясь литературой.

«Но почему он не ищет руки ни одной из нас? Мы богаче его. У него, вероятно, нет долгов или честолубия, или, может быть, он уже помолвлен... или влюблен в замужнюю женщину! Каким же я была ребенком! Это надо узнать прежде всего».

Она сорвала ветку азалии, подошла на цыпочках к скамейке, бросила эту ветку в шляпу Флавьена, лежавшую около него, и потом, скользнув в кусты, как ящерица, спокойно приблизилась к группе людей, показавшейся на лужайке.

Флавьен проснулся. Собираясь надеть шляпу, он уронил ветку азалии; затем стал ее рассматривать, как охотничья собака, вынюхивающая дичь.

– Это объяснение в любви... – сказал он. – Ох, уж эти мне провинциалки, как они скучны! Ну, что ж, посмотрим!

Он оторвал один цветок и вставил его в петлицу, а ветку скомкал и сунул в карман. Затем встал и направился к замку, решив, поскольку его сердце ничем не занято, посмотреть, какое его ждет приключение.

Не сделав и трех шагов, он встретил Каролину.

«Только маленькие девочки, – подумал он, – позволяют себе такие выходки, когда играют. Они называют это проказами».

Но Каролина, искавшая Натали, заговорила с ним в своей обычной манере:

– Здравствуйте, сударь, как поживаете?

Достаточно было взглянуть в ее прекрасные огромные глаза, живые и смелые, но спокойные, чтобы ни на минуту не усомниться в ее равнодушии и чистоте. И Флавьен предложил ей руку, которую она приняла без всякого замешательства, чтобы вернуться вместе с гостем к матери – немножко гордясь тем, что с ней обращаются как со взрослой дамой, и очень стараясь идти ровным шагом – ведь до сих пор она только бегала, а не ходила.

## IX

В это время Тьерре, отошедший было от Эвелины, чтобы не казаться слишком навязчивым, вернулся, будто бы невзначай, и возобновил свое состязание с нею.

– Вы любите бабочек, мадемуазель?

– Терпеть не могу. Они – эмблемы моего собственного легкомыслия, а я только и хочу, что отвлечься от самой себя.

– Ваш кузен Амедей, мадемуазель, очень любит бабочек.

– А-а! – как всегда, не подумав, сказала Эвелина. – Это потому, что их любит его тетушка.

Столь неосторожные слова едва не лишили Эвелину внимания, которым она рассчитывала завладеть. До этой минуты Тьерре видел в своих отношениях с дамами Пюи-Вердона лишь удовольствие походя помучить, испугать, вытеснить соперника, который попадется ему под руку. Теперь его взгляд быстро перенесся на Олимпию и Амедея; они стояли в уголке и тихо беседовали.

Казалось вполне естественным, что они советовались по поводу каких-то домашних дел с той, как бы узаконенной, таинственностью, с которой хозяева стараются не помешать досугу или развлечениям гостей. Однако Тьерре, полагая, что находится на пути к важному открытию, едва не забыл об Эвелине, в которой уже не было для него ничего загадочного, погнавшись за тенью новой тайны. Он вздрогнул от смутного любопытства, принятого Эвелиной за ревность.

«Натали угадала, – подумала она, – господин Тьерре влюблен в мою мачеху. Что ж, если надо дать бой, я его дам. Я не допущу, чтобы эта женщина, которой мы позволили завладеть сердцем нашего отца, не оставила нам ни одного жалкого обожателя».

Она действовала столь успешно, что Тьерре стал неотступно следовать за ней; он был немного озабочен, несколько резок, внутренне протестовал, но тем не менее его уже не отпускали если не оковы из цветов, то по крайней мере моток шелка, в котором он и запутался. Явился Флавьен; принимая похвалы и благодарность всего семейства, он думал лишь о том, чтобы среди всех находившихся там женщин (к Дютертрам прибыло несколько соседок) найти по глазам ту безрассудную особу или ту насмешницу, которая бросила ему в голову, то бишь в шляпу, ветку азалии. Прежде чем он успел встретиться глазами с Натали, она увидела цветок у него в петлице и сказала себе: «Или он никого не любит, или его легко отвлечь. Когда человек серьезно влюблен, он не отдается первой встречной, а этот цветок выглядит на нем, как объявление на доме, который продается или сдается внаем». Натали взяла газету и притворилась, будто просматривает ее; когда Флавьен, сделав ловкий маневр, нашел способ подойти к ней, чтобы поздороваться, она была уже хорошо подготовлена и оказала ему ледяной прием. Очень любезно поздоровавшись с ней, он удалился, думая: «Это уж наверняка не та красавица, чьи цветы я ношу в петлице».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

В 1852 году в газете «Пэи» был напечатан новый роман Жорж Санд «Мон-Ревеш». Творчество Жорж Санд 50-х годов обычно считается менее значительным и интересным, чем произведения, написанные ею в период между революциями 1830 и 1848 годов. «Мон-Ревеш» также не относится к числу наиболее известных ее произведений.

2.

«Поль и Виргиния» – пользовавшийся широкой известностью роман французского писателя Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814). Взгляды автора, эстетически близкого литературным течениям сентиментализма и предромантизма, разделявшего воззрения Ж.-Ж. Руссо, отразились на содержании этой истории о трогательной любви дочери дворянина Виргинии и сына крестьянки Поля, выросших на лоне природы и свободных от сословных предрассудков.

3.

...что вообще доказывает «Фауст»? – Речь идет о произведении И.-В. Гете (1749–1832), в котором как бы подводится итог просветительской мысли XVIII в., осмысливается опыт французской буржуазной революции 1789–1794 гг. В образе доктора Фауста подчеркнута вера в безграничные возможности человеческой личности.

4.

Если бы Юлия не утонула в Женевском озере, если бы Танкред не убил Клоринду, если бы Пирр женился на Андромахе, если бы Дафнис не женился на Хлое, если бы Ламмермурская невеста не сошла с ума, если бы Гяур не стал монахом... – Юлия д'Этанж – героиня романа в письмах Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) «Юлия, или Новая Элоиза» (1761); Танкред и Клоринда – персонажи трагедии итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580); Пирр и Андромаха – герои трагедии Ж.-Б. Расина (1639–1699) «Андромаха» (1667); Дафнис и Хлоя – мифологические персонажи, а также герои одноименного романа греческого писателя Лонга (II–III вв.); Ламмермурская невеста – героиня одноименного романа (1819) В. Скотта (1771–1832); Гяур – герой одноименной поэмы (1813) Д. Г. Байрона (1788–1824).

5.

Ниверне – провинция во Франции; в настоящее время почти целиком входит в состав департамента Ньевр (главный город Невер).

6.

Канонисса – монахиня, участвующая в управлении католическим монастырем или исполняющая его обеты, находясь в миру. Канониссы чаще всего принадлежали к знатым дворянским фамилиям.

7.

Экю – монета, введенная в конце царствования Людовика IX (1215–1270), чеканилась как в золоте, так и в серебре до 1793 года.

8.

Название мне не очень-то нравится. – Reveche (фр.) – шершавый, грубый, терпкий.



**9.**

Берлина – дорожная коляска, созданная в Берлине в конце XVIII в.

**10.**

Тильбюри – двухколесная коляска начала XIX в.

**11.**

...увиджу во сне a Lady in the sacque, вроде той, что была в комнате с гобеленами... – Речь идет о рассказе В. Скотта «Комната с гобеленами, или Дама в старинном платье» (1828), где герой пробуждается среди ночи от появления призрака женщины в старинном наряде, лицо которой повергает его в смятение и ужас.

**12.**

...и станет кричать... как школьный учитель в басне: «Что я вам говорил!» – неточная цитата из басни Лафонтена «Дети и школьный учитель».

**13.**

Диана Вернон – героиня романа В. Скотта «Роб-Рой» (1817).

**14.**

А ты – королеву Елизавету... – Имеется в виду английская королева Елизавета I Тюдор (1558–1603; род. 1533).

**15.**

...заседает в палате – то есть в палате депутатов, которая в годы Июльской монархии (1830–1848) являлась нижней палатой парламента. Избирательный ценз был очень высок, и большинство депутатов принадлежало к крупной финансовой буржуазии.

**16.**

...такую скорбь может превзойти только скорбь малабарской вдовы. – Имеется в виду героиня трагедии в стихах А.-М. Лемьера (1721–1793) «Малабарская вдова, или Власть предрассудков» (1770).

**17.**

...дождаться здесь улитки, которую цапле из басни пришлось довольствоваться в вечерний час. – Ставшее крылатым выражение из басни Лафонтена «Цапля» – об излишней разборчивости.

**18.**

...старикан всерьез играет тут роль Калеба из Равенсвуда. – Кaleb Болдерстон – персонаж романа В. Скотта «Ламмермурская невеста»: старый дворецкий, бесконечно преданный своим хозяевам Равенсвудам.

**19.**

...строеньеице времен Людовика Тринадцатого. – Людовик XIII (1601–1643) – король Франции с 1610 года, время правления которого ознаменовалось феодальными смутами и дальнейшим укреплением абсолютизма во Франции, чему способствовал его первый министр (с 1624 г.) герцог Арман дю Плесси кардинал Ришелье (1585–1642).

**20.**

...замки эпохи Возрождения. – Эпоха Возрождения (Ренессанс) – условное наименование этапа в культурном и идеологическом развитии ряда европейских стран в XV–XVI вв., а в Италии еще раньше, в конце XIII–XIV вв. Это период создания новой буржуазной культуры, прогрессивного переворота в идеологии, в развитии искусства, в том числе и архитектуры. Замки эпохи Возрождения перестали быть феодальными цитаделями, служившими целям обороны, их архитектура носила светлый, жизнеутверждающий характер. Особое развитие получил тип светского здания – палаццо (дворец).

**21.**

...в век короля Солнца... – Так обычно называют время царствования короля Франции Людовика XIV (1643–1715; род. 1638), при котором французский абсолютизм достиг апогея в своем развитии.

**22.**

...со времен всеобщего уничтожения замков в юные годы Людовика Четырнадцатого. – Имеется в виду социально-политическое движение во Франции, известное под названием Фронды (1648–1653). Первоначально Фронду возглавляла буржуазия Парижа (так называемая первая Фронда), затем руководство перешло к потомкам крупных феодалов (Конде, Конти и др.). Эта так называемая Фронда принцев стремилась восстановить могущество феодалов. На стороне короля выступила значительная часть буржуазии совместно с народом. При подавлении Фронды принцев было уничтожено много замков – цитаделей феодалов, и победа над ней способствовала дальнейшему усилению абсолютизма во Франции.

**23.**

Это было в 1793 году, когда она вышла из тюрьмы... отдала дань эпохе террора... – Имеется в виду период якобинской диктатуры (2 июня 1793–27 июля 1794 г.) во время буржуазной революции во Франции 1789–1794 гг., когда стоявшие у власти якобинцы применили террор в борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией.

**24.**

«Котидьен» – ежедневная газета, выходившая в Париже с 22 сентября 1792 г. по 1847 г. Возникшая во время французской буржуазной революции, одновременно с первой Республикой, газета при Реставрации (1814–1830) стала органом роялистов, а в годы Июльской монархии (1830–1848) выражала взгляды правящей монархической группы.

**25.**

...на смерть маршала Морица Саксонского. – Мориц Саксонский (1696–1750) – незаконный сын короля Августа II, курфюрста саксонского (1694–1733) и короля польского (1697–1706 и 1709–1733), маршал Франции, автор ряда военно-теоретических сочинений, оказавших большое влияние на развитие военного искусства XVIII в. Прадед Жорж Санд.

**26.**

...относится к эпохе Людовика Шестнадцатого. – Людовик XVI (1754–1793) – король Франции (1774–1792), свергнут с престола и гильотинирован во время французской буржуазной революции. Имеется в виду стиль, сложившийся в предреволюционные годы.

**27.**

Tabula rasa (лат.) – термин, означающий состояние человека, еще ничего не знающего, поскольку у него отсутствует чувственный опыт.